

ОКТАБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ ВСЕРОССИЙСКОЙ И МОСКОВСКОЙ
АССОЦИАЦИЙ ПРОЛЕТПИСАТЕЛЕЙ

К Н И Г А
П Е Р В А Я
Я Н В А Р Ь

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1932

ТИХИЙ ДОН

РОМАН

МИХ. ШОЛОХОВ

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ¹

XIII

ПУГАЮЩИЕ тишиной, короткие дни под исход казались большими, как в страдную пору. Полегли хутора глухой целинной степью. Будто вымерло все Обдонье, будто мор опустошил станичные юрты. И стало так, словно покрыла Обдонье туча густым, непросветно черным крылом, распростерлась немю и страшно и вот-вот пригнет к земле тополя вихрем, полыхнет сухим, трескучим раскатом грома и пойдет крушить и карежить белый лес за Доном, осыпать с меловых отрогов дикий камень, резать погибельными голосами прозы...

С утра в Татарском застлал землю туман. Гора гудела к морозу. К полудню солнце вышелушивалось из хлопкой мглы, но от этого не становилось ярче; а туман потерянно бродил по высотам облонских гор, валился в яры, в отроги и гиб там, оседая мокрой пылью на мшистых плитняках мела, на оснеженных голызинах гребней.

Вечерами из-за копий голого леса ночь поднимала калено-красный огромный щит месяца. Он мглисто сиял над притихшими хуторами кровавыми отсветами войны и пожаров. И от его нещадного, немеркнувшего света рождалась у людей невнятная тревога, нудился скот: лошади и быки, лишаясь сна, бродили до рассвета по базам. Пагубно выли собаки и задолго до полуночи в разноголось начинали перекликиваться кочета. К заре заморозок ледком оковывал мокрые ветви деревьев. Ветром сталкивало их, и они звенели как стальные стремяна. Будто конная невидимая рать шла левобе-

режем Дона, темным лесом, в сизой тьме, позвякивая оружием и стремянами.

Почти все татарские казаки, бывшие на северном фронте, вернулись в хутор, самовольно покинув части, медленно оттягивавшиеся к Донцу. Каждый день являлся кто-либо из запоздавших. Иной для того, чтобы надолго расседлать строевого коня и ждать прихода красных, засунув боевое снаряжение в стог соломы или под застреху сарая, а другой, отворив занесенную снегом калитку, только лишь вводил коня на баз и, пополнив запас сухарей, переспав ночь с женой, поутру выбирался на шлях, с бугра в остатний раз глядел на белый, мертвый простор Дона, на родимые места, кинутые, быть может, навсегда.

Кто зайдет смерти наперед? Кто раздает конец человеческой путины? Трудно шли кони от хутора. Трудно рвали от спекшихся сердец казаки жалость к близким. И по этой перенесенной поземкой дороге многие мысленно возвращались домой; много тяжелых думок было передумано по этой дороге... Может, и соленая, как кровь, слеза, скользнув по крылу седла, падала на стынущее стремя на искусанную шипами подков дорогу. Да ведь на том месте по весне желтый лазоревый цветок расставанья не вырастет?

В ночь после того, как приехал из Вешенской Петро, в Мелеховском курене начал семейный совет.

— Ну, што?—спросил Пантелей Прокофьевич, едва только Петро перешагнул порог.— Навоевался? Без погонов приехал? Ну, иди, иди, поручкайся с братом, матерю порадуй, жена вон истосковалась... Здорово здорово, Петяша! Григорий! Григорь

¹ Начало см. № 1—3 «Октябрь» за 1929 г.

Пантелевич, што ж ты на пече, как сурок лежишь? Слазь!

Григорий свесил босые ноги с туго подтянутыми штрипками защитных шаровар и с улыбочкой почесывая черную, в дремучем волосе грудь, глядел как Петро, пережилившись, снимает портупей, деревянными от мороза пальцами шарит по узлу башлыка. Дарья, безмолвно и улыбочиво засматривая в глаза мужа, расстегивала на нем петли полушубка, опасливо обходила с правой стороны, где рядом с кобурой нагана сизо просвечивала привязанная к поясу ручная граната.

На ходу коснувшись щекой заиндевелших усов брата, Дуняшка выбежала убрать коня. Ильинична, вытирая завеской губы, готовилась целовать «старшенького». Около печи хлопотала Наталья. Вцепившись в подол ее юбки, жались детишки. Все ждали от Петра слова, а он, кинув с порога хриплое «Здорово живете!» — молча раздевался, долго обметал сапоги просяным венником и, выпрямив согнутую спину, вдруг жалко задрожал губами, как-то потерянно прислонился к спинке кровати, и все неожиданно увидели на обмороженных, почерневших щеках его слезы.

— Служивый! Чево это ты? — под шутливостью хорона тревогу и дрожь в горле, спросил старик.

— Пропали мы, батя! — Петро длинно покривил рот, шевельнул белесыми бровями и, пряча глаза, высморкался в грязную, провонявшую табаком утирку.

Григорий ушиб ласкавшегося к нему кота; кряхнув, соскочил с печки. Мать заплакала, целуя завшивевшую голову Петра, но сейчас же оторвалась от него.

— Чалушка моя! Жалкий мой, молочка-то кисленьково положить? Да ты иди, садись, щи охолонуть. Голодный, небось?

За столом, няньча на коленях племянника, Петро оживился; сдерживая волнение, рассказал об уходе с фронта 28 полка, о бегстве командного состава, о Фомине и о последнем митинге в Вешенской.

— Как же ты думаешь? — спросил Григорий, не снимая с головы дочери черножилюю руку.

— И думать нечево! Завтра вот переднюю, а к ночи поеду. Вы, маманя, харчей мне сготовьте, — повернулся он к матери.

— Отступать, значит? — Пантелей Прокофьевич утопил пальцы в кисете, да так

и остался с высыпавшимся из щепоти табаком, ожидая ответа.

Петро встал, крестясь на мутные, черного письма, иконы, смотрел сурово и горестно.

— Спаси христос, наелся! Отступать, говоришь? А то как же? Чево же я останусь? Штобы мне краснопузые качан срубил? Может, вы думаете оставаться, а я... нет, уж я поеду! Офицеров они не милуют.

— А дом как же? Стало быть, бросим? Петро только плечами повел на вопрос старика. Но сейчас же заголосила Дарья:

— Вы уедете, а мы должны оставаться? Хороши, нечево сказать! Ваше добро будем оберегать!.. Через него, может, и жизни лишись! Сгори оно вам ясным огнем! Не останусь я!

Даже Наталья, и та вмешалась в разговор. Глуша звонкий речитатив Дарьи, выкрикнула:

— Ежели хутор миром тронется — и мы не останемся! Пеши уйдем!

— Дуры! Сучки! — иступленно заорал Пантелей Прокофьевич, перекатывая глаза, невольно ища костыль. — Стервы, мать вашу курицу! Цытёте, окаянные! Муштинское дело, а они ровняются. Ну, давайте бросим все и пойдем куда глаза глядят! А скотину куда денем? За пазуху покладем? А курень?

— Вы, бабочки, чисто умом тронулись! — обиженно поддержала его Ильинична. — Вы его, добро-то, не наживали, вам легко его кинуть. А мы со стариком день и ночь хрип гнули, да вот так-таки и кинуть? Нет, уж! — она поджала губы, вздохнула. — Идите, а я с места не тронусь. Нехай лучше у порога убьют, все легче, чем под чужим плетнем сдыхать!

Пантелей Прокофьевич подкрутил фитиль у лампы, сопя и вздыхая. На минуту все замолчали. Дуняшка, навязывавшая паглинку чулка, подняла от иголок голову, шопотом сказала:

— Скотину с собой можно утнать... Не оставаться же из-за скотины.

И опять бешенство запалило старика: он, как стоялый жеребец, затопал ногами, чуть не упал, споткнувшись через лежавшего у печки козленка. Остановившись против Дуняшки, оранул:

— Погоним! А старая корова починает, — это как?! Докель ты ее догонишь? Ах, ты, фитинов твою в дыхло! Бездомовница! По-

ганка! Гнида! Наживал, наживал им, и вот што припало услыхать! А овец? Ягнят куда денешь? Ох, ох, су-у-укина дочь! Молчала бы!

Григорий искоса глянул на Петра и, как когда-то, давным-давно, увидел в карих родных глазах его озорную, подтрунивающую и в то же время смиренно-почтительную улыбку, знакомую дрожь пшеничных усов. Петро молниеносно мигнул, весь затрясся от сдерживаемого хохота. Григорий и в себе радостно ощутил эту несвойственную ему за последние годы податливость на смех, не таясь засмеялся глухо и раскати-сто.

— Ну, вот!.. Слава богу... Погутарили!— гневно шибнул в него взглядом старик и сел, отвернувшись к окну, расшитому белым пухом инея.

Только в полночь пришли к общему решению: казакам ехать в отступ, а бабам оставаться караулить дом и хозяйство.

Задолго до света Ильинична затопила печь и к утру уже выпекла хлеб и насушила две сумы сухарей. Старик, позавтракав при огне, с рассветом пошел убирать скотину, готовить к отъезду сани. Он долго стоял в амбаре, сунув руку в набитый пшеницей-гарновкой закром, процеживая сквозь пальцы ядреное зерно. Вышел, будто от покойника: сняв шапку, тихо притворив за собою желтую дверь...

Он еще возился под навесом сарая, меняя на санях кошелку, когда на проулке оказался Аникушка, гнавший на водопой ко-рову. Поздоровались.

— Собрался в отступ, Аникей?

— Мне собраться, как голому подпоясаться. Мое — во мне, а чужое будет при мне!

— Новово што слышно?

— Новостей много, Прокофьич!

— А што? — встревожился Пантелей Прокофьевич, воткнув в пучицу саней топор.

— Красные што не видно будут. Подходят к Вешкам. Человек видел с Большого Громка, рассказывал, будто нехорошо идут. Режут людей... У них китайцы, загреби их в пыль! Мало мы их чертей косоглазых, побили!..

— Режут?!

— Ну, а то нохают? А тут чигуня проклятая! — Аникушка заматерился и пошел мимо плетня, на ходу договаривая: — Задон-

ские бабы дымки наварили, поют их, штоб лиха им не делали, а они напьются, другой хутор займут и шеборшат.

Старик установил кошелку, обошел все сараи, оглядывая каждый стоянок и плетень, поставленный его руками. А потом взял вахл, захромал на гумно надергать на дорогу сена. Он вытащил из прикладка железный крюк-и, все еще не прочувствовав неотвратимости отъезда, стал дергать сено похуже, с бурьяном (доброе он всегда приберегал к весенней пахоте), но одумался и, досадуя на себя, перешел к другому стогу. До его сознания как-то не дошло, что вот через несколько часов он покинет баз и хутор и поедет куда-то на юг и, может быть, даже не вернется. Он надергал сена и снова, по-старому, потянулся к граблям, чтобы подгрести, но, отдернув руку, как от горячего, вытирая вспотевший под треугом лоб, вслух сказал:

— Да на што ж мне ево беречь-то теперь? Все одно ить помечут коняам под ноги, потравят зазря али сожгут, — хряпнув об колено грабельник, он поскрипел зубами, понес вахли с сеном, старчески шаркая ногами, сторбясь и постарев спиной.

В курень он не вошел, а приоткрыв дверь, сказал:

— Собирайтесь! Зараз буду запрягать. Как бы не припоздниться.

Уже накинул на лошадей шлейки, уложил в задок чувал с овсом и, дивясь про себя, что сыны так долго не выходят оседлать коней, снова пошел к куреню.

В кухне творилось чудное: Петро ожесточенно расшматовывал узлы, приготовленные в отступ, выкидывал прямо на пол шаровары, мундиры, праздничные бабьи наряды.

— Это што же такое? — в совершенном изумлении спросил Пантелей Прокофьевич и даже треух снял.

— А вот! — Петро через плечо указал большим пальцем на баб, закончил: — Ре-вут. И мы никуда не поедем! Ехать — так всем, а не ехать — так никому! Их, может, тут сильничать красные будут, а мы поедем добро спасать? А убивать будут — на ихних глазах помрем!

— Раздевайся, батя! — Григорий, улыбаясь, снимал с себя шинель и шапку, а сзади ловила и целовала его руку плачущая Наталья и радостно шлепала в ладоши маково-красная Дуняшка.

Старик надел треух, но сейчас же снял его и, подойдя к переднему углу, закрестился широким, машистым крестом. Он положил три поклона, встал с колен, оглядел всех.

— Ну коли так — остаемся! Укрой и оборони нас, царица небесная! Пойду распрягать.

Прибежал Аникушка. В Мелеховоком курене поразили его сплошь смеющиеся, веселые лица.

— Чево же вы?

— Не поедут наши казаки! — за всех ответила Дарья.

— Вот так хны! Раздумали?

— Раздумали! — Григорий нехотя оскалил рафинадно-синюю подковку зубов, подмигнул: — Смерть ее нечево искать, она и тут налапает.

— Офицерья не едут, а нам и бог велел! — и Аникушка, как на копытах, прогрохотал с крыльца и мимо окон.

XIV

В Вешенской на заборах трепыхались фоминовские приказы. С часу на час ждали прихода красных войск. А в Каргинской, в 35 верстах от Вешенской, находился штаб северного фронта. В ночь на 4 января пришел отряд чеченцев, и спешно, походным порядком, от станции Усть-Белокалитвенской двинулся на Фоминовский мятежный полк карательный отряд войскового старшины Романа Лазарева.

Чеченцы должны были 5-го итти в наступление на Вешенскую. Разведка их уже побывала на Белогорке. Но наступление сорвалось: перебежчик из фоминовских казаков сообщил, что значительные силы Красной армии ночуют на Гороховке и 5-го должны быть в Вешенской.

Краснов, занятый прибывшими в Новочеркасск союзниками, пытался воздействовать на Фомина. Он вызвал его к прямому проводу Новочеркасск—Вешенская. Телеграф, до этого настойчиво выстукивавший «Вешенская—Фомина», связал короткий разговор.

— Вешенская Фомину: «Урядник Фомин, приказываю образумиться и стать с полком на позицию, точка. Двинут карательный отряд точка. Ослушание влечет смертную казнь точка. Краснов».

При свете керосиновой лампы, Фомин, расстегнув полушубок, смотрел, как из-под

пальцев телеграфиста, бежит, змеясь, испятнанная коричневыми блесками тонкая бумажная стружка, говорил, дыша в затылок телеграфисту морозом и самогонкой:

— Ну, чево там брешет? Образумиться? Кончил он? Пиши ему... Што-о-о?! Как это, — нельзя? Приказываю, а то зараз зоб с потрохами вьрву!

И телеграф застучал:

«Новочеркасск атаману Краснову точка... Катись под такую мать точка. Фомин».

Положение на северном фронте стало чревато такими осложнениями, что Краснов решил сам выехать в Каргинскую, чтобы оттуда непосредственно направить «карающую десницу» против Фомина и, главное, поднять дух деморализованных казаков. С этой целью он и пригласил в поездку по фронту союзников.

В слободе Бутурлиновке был устроен смотр только что вышедшему из боя Гундоровскому георгиевскому полку. Краснов после смотра стал около полкового штандарта. Поворачиваясь корпусом вправо, зычно крикнул:

— Кто служил под моей командой в 10 полку — шаг вперед!

Почти половина тундоровцев выпала перед строй. Краснов снял папаху, крест-накрест, поцеловал ближнего к нему немолодого, но молодецкого вахмистра. Вахмистр вытер рукавом шинели подстриженные усы, обмер, растерянно вытаращил глаза. Краснов перецеловался со всеми полчанами. Союзники были поражены, недоуменно перешептывались. Но удивление сменили улыбки и сдержанное одобрение, когда Краснов подойдя к ним, пояснил:

— Это те герои, с которыми я бил немцев под Незвиской, австрийцев у Белжеца и Комарова и помогал нашей общей победе над врагом.

... Сбочь солнца, как часовые у денежного ящика, мертво стояли радужные, в белой опояси столбы. Холодный северо-восточный ветер горнистом трубил в лесах, мчался по степи, разворачиваясь в лаву, опрокидываясь и круша ощетиненные карре бурьянов. К вечеру 6 января (над Чиром уже завесой повисли сумерки) Краснов, в сопровождении офицеров английской королевской службы, Эдвардса и Олькотта, и французов — капитана Бартелло и лейтенанта Эрлиха, — прибыл в Каргинскую. Союзники — в шубах, в мохнатых казачьих папахах, со

смехом, ежась и постукивая ногами — вышли из автомобилей, овеванные запахами сигар и одеколona. Согревшись на квартире богатого купца Левочкина, напившись чаю, офицеры, вместе с Красновым и командующим северным фронтом, генерал-майором Ивановым, пошли в школу, где должно было состояться собрание.

Краснов долго говорил перед настороженными толпами казаков. Его слушали внимательно, хорошо, но когда он в речи стал живописно изображать «зверства большевиков», творимые в занимаемых ими станицах, из задних рядов из табачной сини кто-то крикнул в сердцах:

— Неправда! — и сорвал впечатление.

Наутро Краснов с союзниками спешно уехал в Миллерово.

Столь же спешно эвакуировался штаб северного фронта. По станице до вечера рыскали чеченцы, вылавливали нехотевших отступить казаков. Ночью был подожжен склад огнеприпасов. До полуночи, как огромный ворох горящего хвороста, трещали винтовочные патроны, обвално прогрохотали взорвавшиеся снаряды. На другой день, когда на площади шло молебствие перед отступлением, с каргинского бугра застрочил пулемет. Пули вешним градом забарабанили по церковной крыше, и все в беспорядке хлынуло в степь. Лазарев со своим отрядом и немногочисленные казачьи части пытались заслонить отступавших: пехота цепью легла за ветряком, 36 Каргинская батарея под командой каргинца, есаула Федора Попова, обстреляла беглым огнем наступавших красных, но вскоре взялась на передки. А пехоту красная конница обошла с хутора Латышева и, прижучив в ярах, изрубила человек 20 каргинских стариков, в насмешку окрещенных кем-то «гайдамаками».

XV

Решение не отступать вновь вернуло в глазах Пантелея Прокофьевича силу и значимость вещам.

Вечером вышел он метать скотине и, уже не колеблясь, надергал сена из худшего прикладка. На темном базу долго со всех сторон охаживал корову, удовлетворенно думая: «Починает, даже толстая: уже не двойню ли господь даст?» Все ему опять стало родным, близким; все, от чего он уже мысленно отрешился, обрело прежнюю зна-

чительность и вес. Он уже успел за короткий предвечерний час и Дуняшку выругать за то, что мякину просыпала у катуха, и выдолбила лед из корыта, и лаз заделала, пробитый в плетне бором Степана Астахова. Кстатi спросил у Аксиньи, выскочившей закрыть ставни, про Степана: думает ли ехать в отступ. Аксинья, кутаясь в платок, певуче говорила:

— Нет, нет... Где уж ему уехать! Лежит зараз на пече, вроде лихоманка его трепет... Лоб горячий и на нутро жалится. Захворал Степа. Не поедет...

— И наши тоже. И мы, то есть, не поедем. Чума его знает, к лучшему оно али нет...

Смеркалось. За Доном, за серой пропастью леса, в зеленоватой глубине жгуче горела полярная звезда. Окраина неба на востоке крылась багрянцем. Вставало зарево. На раскидистых рогах осокоря торчала срезанная горбушка месяца. На снегу смыкались невнятные тени. Темнели сугробы. Было так тихо, что Пантелей Прокофьевич слушал, как на Дону у проруби кто-то, наверное Аникушка, долбил лед пешней. Лыдинки брызгали и бились, стеклянно вызванивая, да на базу размеренно хрустели сеном быки.

В кухне зажгли огонь. В просвете окна скользнула Наталья. Пантелея Прокофьевича потянуло к теплу. Он застал всех домашних в сборе. Дуняшка только что пришла от Христининой жены. Опорожняла чашку с наикваской и, боясь, как бы не перебили, торопливо рассказывала новости.

В горнице Григорий смазал винтовку, наган, шашку, завернул в полотенце бинокль, позвал Петра.

— Ты свое приборал? Неси, надо схоронить.

— А што, ежели обороняться придется?

— Молчал бы уж! — усмехнулся Григорий. — Гляди, а то найдут, — за мотню на ворота повесют.

— Славать придется, чего их хоронить!

— От фронта береги. Люди, сам знаешь, распаленные. Беды наживешь...

Они вышли на баз. Оружие, неведомо почему, спрятали порознь. Но новенький черный наган Григорий сунул в горнице под подушку.

Едва лишь поужинали и среди вялых разговоров стали собираться спать, — на базу хрипато забрехал цепной кобель, кидаясь

на привязи, хрипя от душившего ошейника. Старик вышел посмотреть, вернулся с кем-то, по брови укутанным башлыком. Челювек при полном боевом, туго стянутый белым ремнем, войдя, перекрестился; изо рта, обведенного инеем, похожего на белую букву «О», повалил пар.

— Должно, не узнаете меня?

— Да ить это сват Макар! — вскрикнула Дарья.

И тут только Петро и все остальные угадали дальнего родственника Макара Ногайцева, казака с хутора Сингина, известного во всем округе редкостного песенника и пьяницу.

— Каким тебя лихом занесло? — улыбался Петро, но с места не стал.

Ногайцев, сдирая с усов, покидал к порогу сосульки, потопал ногами в огромных, подшитых кожей валенках, не спеша стал раздеваться.

— Одному, сдается, скучно ехать в отступ, семка, думаю заеду за сватами. Слух поймел, што обое вы дома. Заеду, говорю бабе, за Мелеховыми, все веселей будет.

Он отнес винтовку и поставил у печки рядом с рогачами вызвав у баб улыбки и смех. Подсумок сунул под газетку, а шашку и плеть почетно положил на кровать. И на этот раз Макар пахуче дышал самогонкой, большие, на выкате, глаза дымились пьяным хмельком, в мокром колтуне бороды белел ровный набор голубоватых, как донские ракушки, зубов.

— С Сангиных аль не выступают казаки? — спросил Григорий, протягивая бисером шитый кисет.

Гость кисет отвел рукой.

— Не займаюсь табачком. Казаки-то? Кто уехал, а кто сурчину ищет, где бы схрониться. Вы-то поедете?

— Не поедут наши казаки. Ты уж не мани их! — испугалась Ильинична.

— Неужели остаетесь? Ажник не верю. Сват Григорий, верно? Жизни решаетесь, братушки.

— Што будет, — вздохнул Петро и, внезапно охваченный огненным румянцем, спросил. — Григорий! Ты как? Не фаздумал? Может, поедем?

— Нет уж.

Табачный дым окутал Григория и долго колыхался над курчеватым смоляным чубом.

— Коня твоего отец убирает? — не к месту спросил Петро.

Тишина захрясла надолго. Только прылка под ногой Дуняшки шмелем жужжала, навевая дрему.

Ногайцев просидел до белой зорьки, все уговаривал братьев ехать за Донец. За ночь Петро два раза без шапки выбегал седлать коня и оба раза шел расседлывать, пронзаемый грозящими Дарьиными глазами.

Занялся свет, и гость засобирался. Уже одетый держась за дверную скобу, он значительно покашлял, сказал с потаенной угрозой:

— Может, оно и к лучшему, а тольки всхомянетесь вы посла. Доведется нам вернуться отеть, — мы припомним, какие красным на Дон ворота отворяли, оставались им служить...

С утра густо посыпал снег. Выйдя на баз, Григорий увидел, как из-за Дона на переезд ввалился чернеющий ком людей. Лошади восьмеркой тащили что-то, слышался говор, понуканье, матерная ругань. Сквозь мятель, как в тумане, маячили седые силуэты людей и лошадей. Григорий по четверной упряжке угадал: «Батарей! Неужели красные?» От этой мысли сдвоило сердце, но, поразмыслив, он успокоил себя.

Раздерганная толпа приближалась к хутору, далеко обогнув черное, поднятое в небо жерло польнюю. Но на выезде переднее орудие, проломив подмытый у берега ледок, обрушилось одним колесом. Ветер донес крик ездовых, хруст крошащегося льда и торопкий, оскользающийся перебор лошадиных копыт. Григорий прошел на скотный баз, осторожно выглянул. На шинелях всадников разглядел засыпанные снегом погоны, по обличью угадал казаков. Минут пять спустя, в ворота в'ехал на рослом, ширококрупном коне стариковатый вахмистр. Он слез у крыльца, чумбур привязал к перилам, вошел в курень.

— Кто ту хозяин? — спросил он, поздоровавшись.

— Я, — ответил Пантелей Прокофьевич, испуганно ждавший следующего вопроса: «А почему ваши казаки дома?»

Но вахмистр кулаком расправил белые от снега, витые и длинные, как эксельбанты, усы, спросил:

— Станишники! Помогите ради христа выручить орудие. Провалилось у берега по самые ося. Может, бичевы есть? Это какой хутор? Заблудились мы. Нам бы в Еланскую станицу надо, но такая посыпала — зги не

видать. Малшрут мы потеряли, а тут красные вот-вот хвост прищемют.

— Я и не знаю, ей-богу...— замялся старик.

— Чево тут знать! Вон у вас казаки какие... Нам и людей бы,— надо помочь.

— Хвораю я,— сбрехнул Пантелей Прокофьевич.

— Што ж вы, братцы! — Вахмистр, как волк, поворачивая шею, оглядел всех. Голос его будто помолодел и выправился: — Аль вы не казаки? Значит, нехай пропадае войсковое имущество? Я за командира батареи остался, офицеры поразбегались, неделю вот с коня не схожу, обморозился, пальцы на ноге поотпали, но я жизни решаю, а батарею не брошу! А вы... Тут нечево! Добром не хотите — я зараз кликну казаков, и мы вас... — вахмистр со слезой и гневом выкрикнул, — заставим, сукины сыны! Большевики! В проб вашу мать! Мы тебя, дед, самово запрегем, коли хошь! Иди народ кличь, а не пойдут, — накажи бог, вернусь на этот бок и хутор ваш весь с землей смешаю...

Он говорил, как человек не совсем уверенной в своей силе. Григорию стало жаль его: схватил шапку, сурово, не глянув на расходившегося вахмистра, сказал:

— Ты не разоряйся. Нечево тут! Выручить поможем, а там езжай с богом.

Положив плетни, батарею переправили. Народу сошлось немало. Аникушка, Христоня, Томилин Иван, Мелеховы и с десяток баб при помощи батарейцев выкатили орудия и зарядные ящики, пособили лошадям взять под'ем. Обмерзшие колеса не крутились, гальмовали по снегу. Источенные лошади трудно брали самую малую горку, номера, наполовину разбежавшиеся, шли пешком. Вахмистр снял шапку, поклонился, поблагодарил помогавшим и, поворачиваясь в седле, негромко приказал:

— Батарея, за мной!

Вслед ему Григорий глядел почтительно, с недоверчивым изумлением. Петро подошел, пожевывая ус, словно отвечая на мысль Григория, сказал:

— Кабы все такие были! Вот как надо тихий Дон-то оборонять!

— Ты про усатова? Про вахмистра? — спросил, подходя, захлостанный по уши Христоня. — И гляди, стал быть, потянет свои пушки. Как он, язви ево, на меня плетью замахнись. И вдарил бы, стал быть,

человек в отчаянности. Я не хотел итить, а потом, признаться, спужался, — хучь и валенков нету, а пошел. И скажи, на што ему дураку, эти пушки? Как шкодливая свинья с колодкой: и трудно и не на добро, а тянет...

Казаки разошлись, молча улыбаясь.

XVI

Далеко за Доном — время перевалило уже за обед — пулемет глухо выщелкал две очереди и смолк.

Через полчаса Григорий, не отходивший от окна в горнице, ступил назад, до скула оделся пепельной синевой:

— Вот они!

Ильинична ахнула, кинулась к окну. По улице в россыпь скакали восемь конных. Они на рысях дошли до мелеховского база, приостановившись, оглядели переезд за Дон, чернотропный проследок, стиснутый Доном и горой, повернули обратно. Сытые лошади их, мотая куцо обрезанными хвостами, закидали, забрызгали снежными ошметками. Конная разведка, рекогносцировавшая хутор, скрылась. Спустя час, Татарский налил скрипом шагов, чужою, окающей речью, собачьим брехом. Пехотный полк, с пулеметами на санях, с обозом и кухнями, перешел Дон и разлился по хутору.

Как ни страшен был этот первый момент вступления вражеского войска, но смешливая Дуняшка не вытерпела и тут: когда разведка повернула обратно, она фыркнула в завеску, выбежала на кухню. Наталья встретила ее испуганным взглядом.

— Ты чево?

— Ох, Наташенька... Милушка!.. Как они верхами ездют! Уж он по седлу взад-вперед, взад-вперед... А руки в локтях болтаются. И сами, как из лоскутов сделанные, все у них трясется!

Она их движения так мастерски произвела, как ерзают в седлах красноармейцы, что Наталья добежала, давась смехом, до кровати, упала в подушки, чтоб не привлечь гневного внимания свекра.

Пантелей Прокофьевич в мелком трясучем ознобе бесцельно передвигал по лавке в бокоуше дратву, шила, баночку с березовыми шпильками, все поглядывая в окно сузившимся, затравленным взглядом.

А в кухне расходились бабы, словно не перед добром: пунцовая Дуняшка, с мокрыми от слез глазами, блестящими, как зер-

на обрызганного росой паслена, показывала Дарье посадку в седлах красноармейцев и в размеренные движения с бессознательным цинизмом вкладывала непристойный намек. Ломались от нервного смеха у Дарьи крутые подковы крашенных бровей, она хотала, хрипло и сдавленно выговаривая:

— Небось, шаровары до дыр изотрет!.. Такой-то ездок... Луку выгнет!..

Даже Петра, вышедшего из горницы с убитым видом, на минуту развеселил их смех.

— Чудно глядеть на ихнюю езду? — спросил он. — А им не жалко. Побьют спину коню — друтова подцепит. Мужики! — и с беспечным презрением махнул рукой. — Он и лошадь-то, может, в первый раз видит: «Мал-ти, поедим, гляди и доедим». Отцы ихние колесного скрипу боялись, а они джигитуют... Эх! — он похрустел пальцами, ткнулся в дверь горницы.

Красноармейцы толпой валяли вдоль улицы, разбивались на группы, заходили в дворы. Трое свернули в воротца к Аникушке, пятеро, из них один конный, остались около Астаховского куреня, а остальные пятеро направились по-над плетнем к Мелеховым. Впереди шел невысокий, пожилой красноармеец, бритый, с приплюснутым, ширококоздрым носом, сам весь ловкий, подбористый, с маху видать — старый фронтовик. Он первый вошел на мелеховский баз и, остановившись около крыльца с минуту, угнув голову, глядел, как гремит на привязи желтый кобель, задыхаясь и захлебываясь лаем; потом снял с плеча винтовку. Выстрел сорвал с крыши белый дымок инея. Григорий, поправляя ожерелок душивший его рубахи, увидел в окно, как в снегу, пятня его кровью, катается собака, в предсмертной яростной муке грызет простреленный бок и железную цепь. Оглянувшись, Григорий увидел омытые бледностью лица женщин, беспамятные глаза матери. Он без шапки шагнул в венцы.

— Оставь! — чужим голосом крикнул вслед отец.

Григорий распахнул дверь. На пороге, звеня, упала порожня тлельза. В калитку входили отставшие карсноармейцы

— За што убил собаку? Помешала? — спросил Григорий, став на пороге.

Широкие ноздри красноармейца хватнули воздуха, углы тонких, выбритых досиня

губ, сползли вниз. Он оглянулся, перекинул винтовку на руку.

— А тебе что? Жалко? А мне вот и на тебя патрон не жалко потратить. Хочешь? Становись!

— Но-но, брось, Александр! — подходя и смеясь, проговорил рослый, пышнобровый красноармеец. — Здравствуйте, хозяин! Красных видали? Принимайте на квартиру. Это он вашу собачку убил? Напрасно! Товарищи, проходите.

Последним вошел Григорий. Красноармейцы весело здоровались, снимали подсумки, кожаные японские патронташи, на кровать в кучу валяли шинели, ватные теплушки, шапки. И сразу весь курень наполнился ядовито-пахучим спиртовым духом солдатчины, неделимым запахом людского пота, табака, дешевого мыла, ружейного масла — запахом дальних путей.

Тот, которого звали Александром, сел за стол, закурил папиросу и, будто продолжая начатый с Григорием разговор, спросил:

— Ты в белых был?

— Да.

— Вот... я сразу вижу сову по полету, а тебя по соплям. Беленький! Офицер, а? Золотые погоны? — дым он столбами выбрасывал из ноздрей, сверлил стоявшего у притолжки снизу Григория холодными, безулыбчивыми глазами и все постукивал снизу папиросу прокуренным выпуклым ногтем.

— Офицер ведь? Признавайся! Я по правке вижу, сам, чай, германскую сломал.

— Был офицером. — Григорий насильственно улынулся и, поймав сбоку на себе испуганный, молящий взгляд Натальи, нахмурился, подождал бровью. Ему стало досадно за свою улыбку.

— Жаль! Оказывается, не в собаку надо было стрелять... — Красноармеец бросил окурок под ноги Григорию, подмигнул остальным.

И опять Григорий почувствовал, как, помимо воли, кривит его губы улыбка виноватая и просящая, и он покраснел от стыда за свое невольное, неподвластное разуму проявление слабости. «Как нашкодившая собака перед хозяином» — стыдом согрела его мысль и на миг выросло перед глазами: такой же улыбкой щерил черные атласные губы убитый белогрудый кобель, когда он, Григорий, хозяин, вольный и в жизни его и в смерти, подходил к нему, и кобель падал

на спину, оголяя молодые резцы, бил пушистым рыжим хвостом...

Пантелей Прокофьевич все тем же незнакомым Григорию голосом спросил:— Может, гости хотят вечерять? Тогда он прикажет хозяйке.

Ильинична, не дожидаясь согласия, рванулась к печке. Рогач в руках ее дрожал, и она никак не могла поднять чугунок со щами. Опустив глаза, Дарья собирала на стол. Красноармейцы рассаживались, не крестясь. Старик наблюдал за ними со страхом. Наконец не выдержал, спросил:

— Богу, значит, не молитесь?

Только тут подобие улыбки скользнуло по губам того, которого звали Александром. Под дружный хохот остальных он ответил:

— И тебе бы, отец, не советовал! Мы своих богов давно отправили...— запнулся, стиснул брови.— Бога нет, а дураки не верят, молятся вот этим деревяшкам!

— Так, так... Ученые люди — они, конечно, достигли,— испуганно согласился Пантелей Прокофьевич.

Он принес из бокоуши сапожный инструмент: ольховый обрубок, служивший ему стулом, подвинул к окну, приладил в пухляке жирник и сел со старым сапогом в обнимку. В разговор больше не вступал.

Петро не показывался из горницы. Там же сидела с детьми и Наталья. Дуняшка вязала чулок, прижавшись к печке, но после того, как один из красноармейцев назвал ее «барышней» и пригласил поужинать, она ушла. Разговор умолк. Поужинав, красноармейцы закурили.

— У вас можно курить? — спросил рыжебровый.

— Своих трубокуров полно,— неохотно сказала Ильинична.

Григорий отказался от предложенной ему папироски. У него все внутренне дрожало, к сердцу приливалась щемящая волна при взгляде на того, который застрелил собаку, и все время держался в отношении его вызывающе и нагло. Он, как видно, хотел столкновения и все время искал случая уязвить Григория, вызвать его на разговор.

— В каком полку служили, ваше благородие?

— В разных.

— Сколько наших убил?

— На войне не считают. Ты, товарищ, не думай, что я родился офицером. Я им с

германской пришел. За боевые отличия дали мне лычки эти...

— Я офицерам не товарищ! Вашего брата мы к стенке ставим. Я, прешник, тоже не одного на мушку посадил.

— Я тебе вот что скажу, товарищ... Не тоже ты ведешь себя, будто вы хутор с бою взяли. Мы ить сами бросили фронт, пустили вас, а ты, как в завоеванную сторону пришел... Собак стрелять — это всякий сумеет, и безоружнова убить и обидеть тоже не хитро...

— Ты мне не указывай! Знаем мы вас.— «Фронт бросили!» Если б не набили вам, так не бросили бы! И разговаривать с тобой я могу по-всякому.

— Оставь, Александр! Надоело! — попросил рыжебровый.

Но тот уже подошел к Григорию, раздувая ноздри, дыша с сапом и свистом.

— Ты меня лучше не тронь, офицер, а то худо будет!

— Я вас не трогаю.

— Нет, трогаешь!

Приоткрывая дверь, Наталья сорванным голосом позвала Григория. Он обошел стоявшего против него красноармейца, пошел и качнулся в дверях, как пьяный. Петро встретил его ненавистным, етениющим шопотом.

— Што ты делаешь?.. На чорта он тебе сдася? Чево ты с ним связываешься? И себя и нас сгубишь! Сядь!..— он с силой толкнул Григория на сундук, вышел в кухню. Григорий раскрытым ртом жадно хлебал воздух, от смуглых щек его отходил черный румянец, и потускневшие глаза обрели слабый блеск.

— Гриша! Гришенька! Родненький! Не связывайся! — просила Наталья, дрожа, зажимая рты готовым зареветь детишкам.

— Чего ж я не уехал? — спросил Григорий и, тоскуя, глянул на Наталью.— Не буду. Цыц! Сердцу нет мочи терпеть!

Позднее пришло еще трое красноармейцев. Один, в высокой черной папахе, по виду начальник, спросил:

— Сколько поставлено на квартиру?

— Семь человек,— за всех ответил рыжебровый, перебиравший певучие лады ливенки.

— Пулеметная застава будет здесь. Потеснитесь.

Ушли. И сейчас же заскрипели ворота. На баз в'ехало две подводы. Один из пуле-

метов втащили в сенцы. Кто-то жег спички в темноте и яростно матерился. Под сараем курили, на гумне, дергая сено, зажигали огонь, но никто из хозяев не вышел.

— Пошел бы коней глянул,— шепнула Ильинична, проходя мимо старика.

Тот только плечами дрогнул, а пойти не пошел. Всю ночь хлопали двери. Белый пар висел над потолком и росой садился на стены. Красноармейцы постелили себе в горнице на полу. Григорий принес и растелил им полость, в головы положил свой пошубок.

— Сам служил, знаю, — примиряюще улыбнулся он тому, кто чувствовал в нем врага. Но широкие ноздри красноармейца зашевелились, взгляд непримиримо скользнул по Григорию...

Григорий и Наталья легли в той же комнате на кровати. Красноармейцы, сложив винтовки в головах, вповалку разместились на полости. Наталья хотела потушить лампу, у нее внушительно спросили:

— Тебя кто просил гасить огонь? Не смей! Прикрути фитиль, а огонь должен гореть всю ночь.

Детей Наталья уложила в ногах, сама, не раздеваясь, легла к стенке. Григорий, закинув руки, лежал молча.

«Ушли бы мы,— стискивая зубы, прижимаясь сердцем к углу подушки, думал Григорий.— Ушли бы в отступ и вот сейчас Наташку распинали бы на этой кровати и тешились над ней, как тогда в Польше над Франей»...

Кто-то из красноармейцев начал рассказ, но знакомый голос перебил его, зазвучал в мутной полутьме с выжидающими паузами:

— Эх, скучно без бабы! Зубами бы прыз... Но хозяин — он офицер... Простым, которые сопливые, они жен не уступают... Слышишь, хозяин?

Кто-то из красноармейцев уже храпел, кто-то сонно засмеялся. Голос рыжебрового зазвучал угрожающе:

— Ну, Александр, мне надоело тебя уговаривать! На каждой квартире ты скандалишь, фулиганишь, позоришь красноармейское звание, этак не годится! Сейчас вот иду к комиссару или к ротному. Слышишь? Мы с тобой поговорим!

Пристыла тишина, слышно было только, как рыжебровый сердито сопя, натягивает

сапоги. Через минуту он вышел, хлопнув дверью.

Наталья, не удержавшись, промком всхлинула. Григорий рукой трясухе гладил голову ее, потный лоб и мокрое лицо. Правой спокойно шарил у себя по груди, а пальцы механически застегивали и расстегивали пуговицы натальной рубахи.

— Молчи, молчи! — чуть слышно шептал он Наталье. И в этот миг знал непреложно, что духом готов на любое испытание и унижение, лишь бы сберечь свою и родимых жизнь.

Спичка осветила лицо привставшего Александра, широкий обод носа, рот, приосавшийся к папироске. Слышно было, как он вполголоса заворчал и, вздохнув сквозь многоголосый храп, стал одеваться.

Григорий, нетерпеливо прислушивавшийся, в душе бесконечно благодарный рыжебровому, радостно дрогнул, услыша под окнами шаги и негодующий голос: «И вот он все привязывается, все привязывается... делать... беда... товарищ комиссар».

Шаги зазвучали в сенцах, скрипнула, отворившись, дверь. Чей-то молодой командный голос приказал:

— Александр Тюрников, одевайся и сейчас же уходи отсюда. Ночевать будешь у меня на квартире, а завтра мы тебя будем судить за недостойное красноармейца поведение.

Григорий встретил доброжелательный острый взгляд стоявшего у дверей рядом с рыжебровым человеком в черной кожаной куртке. Он по виду молод и по-молодому суров; с чересчур уж подчеркнутой твердостью были сжаты его губы, обметанные юношеским пушком.

— Беспокойный гость попался, товарищ? — обратился он к Григорию, чуть приметно улыбаясь. — Ну, теперь спите, мы его завтра утихомирим. Всего доброго. Идем, Тюрников!

Ушли, и Григорий вздохнул облегченно. А наутро рыжебровый, расплачиваясь за квартиру и харчи, нарочито замешкался, сказав:

— Вы, хозяева, не обижайтесь на нас. У нас этот Александр вроде головой тронутый. У него в прошлом году на глазах офицеры в Луганске, — он из Луганска родом, — расстреляли мать и сестру. Оттого он такой. Ну, спасибо. Прощайте! Да, вот детишкам чуть было не забыл! — и, к не

сказанной радости ребят, вытащил из вещевого мешка и сунул им в руки по куску серого от грязи сахара.

Пантелей Прокофьевич растроганно глядел на внуков:

— Ну, вот им гостинец! Мы его, сахар-то, года полтора уж не видим... Спаси христос, товарищ! Кланяйтесь дяденьке! Полошка, благодари. Милушка, чево же ты набычилась стоишь?

Красноармеец вышел, и старик гневно к Наталье:

— Необразованность ваша! Хоть бы пышку дала ему на дорогу. Отдарить-то надо доброво человека? Эх!

— Беги! — приказал Григорий.

Наталья, накинув платок, догнала рыжебрового за калиткой. Красная от смущения, сунула пышку ему в глубокий, как степной колодезь, карман шинели.

XVII

В полдень через хутор спешным маршем прошел 6 Мценский Краснознаменный полк, захватив кое у кого из казаков строевых лошадей. За бугром далеко погромыхивали орудийные раскаты.

— По Чиру бой идет, — определил Пантелей Прокофьевич. На вечерней заре и Петро, и Григорий не раз выходили на баз. Слышно было по Дону, как где-то, не ближе Усть-Хоперской, немо гудели орудия и совсем тихо (нужно было припадать ухом к промерзлой земле) выстрачивали пулеметы.

— Не плохо и там ослаивают! Генерал Гусельщиков там с гундоровцами, — говорил Петро, обметая снег с колен и папахи, и уж совершенно не к разговору добавил: — Коней заберут у нас. Твой конь, Григорий, из себя видный, видит бог — возьмут!

Но старик догадался раньше их: на ночь повел Григорий обоих строевых поить, вывел из дверей, увидел: кони улягают на передние. Провел своего — хромает во-всю, то же и с Петровым. Позвал брата:

— Обезножил кони, во дела! Твой на правую, а мой на левую жалится. Засечки не было... Разве мокрецы?

На лиловом снегу, под неяркими вечерними звездами кони стояли понуро, не играли от застоя, не взбрыкивали. Петро зажег фонарь, но его остановил пришедший с гупна отец:

— На што фонарь?

— Коня, батя, захромали. Должно, ножная.

— А ежели ножная — плохо?! Хочешь, штоб какой-нибудь мужик заседлал да с базу повел?

— Оно-то не плохо...

— Ну, так скажи Гришке, што ножную я им и сделал. Молоток взял, по гвоздю вогнал обоим ниже хряща, теперь будут хромать, покель фронт стронется.

Петро покрутил головой, пожевал ус и пошел к Григорию.

— Поставь их к яслям. Это отец нарошно их похромил. Стариковская догадка спасла.

В ночь снова загремел от гомона хутор. По улицам скакали конные; лязгая на выбоинах и раскатах, проползла и свернулась на площади батарея. 13 кавполк стал в хуторе на ночлег. К Мелеховым только что пришел Христоня, сел на карачки, покурил:

— Нет у вас чертей? Не ночуют?

— Покеда бог миловал. Какие были-то — весь курень провоняли духом своим мужичьим. То-то оно говорится — «Русь вонючая», — ну, и воистину! — недовольно бормотала Ильинична.

— У меня были, — голос Христоня сполз на шопот, огромная ладонь вытерла смоленную слезинкой глазницу. Но, тряхнув здоровенной, с польский котел, головой, покряхтел и уже как будто застыдилса своих слез.

— Ты чево, Христоня? — посмеиваясь, спросил Петро, первый раз увидавший Христонины слезы. Они-то и привели его в веселое настроение.

— Воронка взяли... На германскую на нем ходил... Нужду вместе, стал быть... как человек был, ажник, стал быть, умнее... сам и то и полседлал. «Седлай, говорит, а то он мне не дается». — Што ж я тебе, говорю, всю жизнь буду седлать, што ля? Взял, говорю, — стал быть, сам и руководствуй. — Оседлал а он хучь бы человек был... огарок!.. Стал быть, в пояс мне, достремени ногой не достанет... К крыльцу подвел, сел... Закричал я, как дите. Ну, — говорю бабе. — кохал, поил, кормил... — Христоня опять перешел на присвистывающий быстрый шопот и встал. — На конюшню глянуть боюсь! Обмертвел баз...

— У меня — добро. Трех коней подую сразило, это четвертый.

Григорий прислушался. За окном хруст снега, звяк шашек, приглушенное: Тррррр!

— Идут и к нам. Как рыба на дух, прожлятые! Либо кто сказал... — Пантелей Прокофьевич засуетился, руки сделались лишними, некуда стало их деть.

— Хозяин! А-ну, выходи!

Петро надел в напашку зипунг, вышел.

— Где кони? Выводи!

— Я не против, но они, товарищ, в ножной.

— В какой ножной? Выводи! Мы не так берем, ты не бойся. Бросим своих.

Вывел по одному из конюшни.

— Третья там. Почему не выводишь? — спросил один из красноармейцев, присвечивая фонарем.

— Это матка, ожеребанная... Она старюка, ей уж годов сто...

— Эй, неси седла! Постой, в самом деле хромают... В господа бога, в креста, куда ты их калеч ведешь?! Станови обратно! — свирепо закричал державший фонарь.

Петро потянул за недоуздки, и отвернул от фонаря лицо со сморщенными губами.

— Седла где?

— Товарищи забрали ноне утром.

— Врешь, казак! Кто взял?

— Ей-богу!.. Накажи господь — взяли! Мценский полк проходил и забрал. И седла и даже два хомута взяли.

Матерясь, трое конных уехали. Петро вошел, налитанный запахами конского пота и мочи. Твердые губы его ежились, и он не без похвальбы хлопнул Христоню по плечу.

— Вот как надо! Кони захромали, а седла взяли, мол... Эх, ты!..

Ильинична погасила лампу, ощупью пошла стелить в горничке.

— Посумерничаем, а то принесет нелегкая ночевщиков.

В эту ночь у Аникушки гуляли. Красноармейцы попросили пригласить соседних казаков. Аникушка пришел за Мелеховым.

— Красные?! Што нам красные? Они што же не хрещенные, што ли? Такие ж, как и мы, русские. Ей-богу! Хотите верьте, хотите — нет... И я их жалею... А што ж мне? Пойдем, Григорь! Петя!.. Ты не гребуй мною...

Григорий отказался идти, но Пантелей Прокофьевич посоветовал:

— Пойди, а то скажут, мол, за низкое считает. Ты иди, не помни зла.

Вышли на баз. Теплая ночь сулила погоду. Пахло золой и кизечным дымом. Казаки стояли молча, потом пошли. Дарья догнала их у калитки.

Насурмленные брови ее, раскрылывшись на лице, под неярким, процеженным сквозь тучи светом месяца блестели бархатной черниной.

— Меня подпаивают... Только ихнева дела не выйдет. Я, брат ты мой, глаз имею... — бормотал Аникушка, а самогонка кидала его на плетень, валила со стежки в сугробину. Под ногами сахарно похрупывал снег, зернисто-синий, сыпкий. С серой наволочи неба срывалась метель.

Ветер нес огонь из цыгарок, перевеивал снежную пыльцу. Под звездами он хищно налетал на белоперую тучу (так сокол, настигнув, бьет лебедя круто выгнутой грудью), и на присмиревшую землю, волнисто покачиваясь, слетали белые перышки-хлюпья, покрывали хутор, скрестившиеся шляхи, степь, лодской и звериный след...

У Аникушки в хате — дыхнуть нечем. Черные острые языки копоты снуют из лампы, а за табачным дымом никому не видать. Гармонист-красноармеец режет «саратовскую», до отказа выбирая меха, раскидав длинные ноги. На лавках сидят красноармейцы, бабы-соседки; Аникушкину жену голубит здорovenный дяденька в ватных защитных штанах и коротких сапогах, обремененных огромными, словно из музея, шпорами. Шапка мелкой седой смушки сдвинута у него на кучерявый затылок, на буром лице пот. Мокрая рука жжет Аникушкиной женке спину.

А бабочка уже сомлела: слоняво покраснел у нее рот, она бы и отодвинулась, да моченьки нет; она и мужа видит и улыбочивые взгляды баб, но вот так-таки нет сил снять со спины могучую руку; стыда будто и не было, и она смеется пьяненько и расслабленно.

Посреди хаты по земляному полу зеленым чортом вьется и выбивает частуху взводный 13 кавалерийского. Сапоги на нем хромовые на одну портянку, галифе — офицерского сукна. Григорий смотрит от порога на сапоги и галифе, думает: «С офицера добыто...»

Потом переводит взгляд на лицо: оно исчерна смугло, лоснится потом, как круп вороного коня, круглые ушные раковины оттопырены, губы толсты и обвислы. «Не

казак, а ловкий!» — решает про себя Григорий. Ему и Петру налили самогонки. Григорий пил осторожно, но Петро захмелел скоро. И через час выдвельвал уже по земляному полу «казачка», рвал каблуками пыль, хрипло просил гармониста: «Чаще, чаще!» Григорий сидел возле стола щелкая тыквенные семечки; рядом с ним рослый синеваж, пулеметчик. Он морщил ребячески-округлое лицо, говорил мягко, сглаживая шктящие, вместо «ц» произнося «с»: «с-елый полк», «месяс» — выходило у него.

— Колчак разбили мы. Краснова вашего сапнеж как следует, и все. Во как! А там ступай пахать, земли селяя промаса-гайша, бери ее, заставляй родиты! Земля — она, как баба: сама не дается, ее отнять надо. А кто поперек станёт — убить. Нам вашего не надо. Лишь бы равными всех поделать...

Григорий соглашался, а сам все исподтишка поглядывал на красноармейцев. Для опасений как будто не было оснований. Все глазели, одобрительно улыбаясь, на Петра, на его округлые и ладно подогнанные движения. Чей-то трезвый голос восхищенно восклицал: «Вот чорт! Здо-рово!» Но случайно Григорий поймал на себе внимательно прищуренный взгляд одного курчавого красноармейца, старшины, и насторожился, пить перестал.

Гармонист заиграл польку. Бабы пошли по рукам. Один из красноармейцев с обеленной спиной, качнувшись, пригласил молоденькую бабенку — соседку Христоню, но та отказалась и, захватив в руку оборчатый подол, перебежала к Григорию.

— Пойдем плясать!

— Не хоч.

— Пойдем, Гриша! Цветок мой лазоревый!

— Брось дурить, не пойду!

Она тащила его за рукав, насильственно смеясь; он хмурился, упирался, но, заметив, как она мигнула, встал. Сделали два круга, гармонист свалил пальцы на басы, и она, улучив секунду, положила Григорию голову на плечо, чуть слышно шепнула:

— Тебя убить сговариваются... Кто-то доказал, што офицер... Беги...

И громко:

— Ох, што-то голова закружилась!

Григорий повеселел. Подошел к столу, выпил кружку дымки, Дарью спросил:

— Спился Петро?

— Почти готов. Снялся с катушки.

— Веди домой.

Дарья повела Петра, удерживая толчки его с мужской силой. Следом вышел Григорий.

— Куда, куда? Ты, куда? Не-е-ет. Ручку поцелую,— не ходи! — пьяный в дым Аникушка прилип к Григорию, но тот глянул такими глазами, что Аникушка растопырил руки и поклонился в сторону.

— Честной кампанией! — Григорий тряхнул от порога шапку.

Курчавый, шевельнув плечами, поправил пояс, пошел за ним. На крыльце, дыша в лицо Григорию, поблескивая лихими светлыми глазами, шопотом спросил:

— Ты куда? — и цепко взялся за рукав Григорьевой шинели.

— Домой,— не останавливаясь, увлекая его за собой, ответил Григорий. Взволнованно радостно решил: «Нет, живьем вы меня не возьмете!»

Курчавый левой рукой держался за локоть Григория, тяжело дыша, ступал рядом. У калитки они задержались. Григорий услышал, как скрипнула дверь, и сейчас же правая рука красноармейца лапнула бедро, ногти царапнули крышку кобуры. На одну секунду Григорий увидел в упор от себя синее лезвие чужого взгляда и, ворохнувшись, поймал руку, рвавшую застежку кобуры. Крякнув, он сжал ее в залястьи, со страшной силой кинул себе на правое плечо, нагнулся и, перебрасывая издавна знакомым приемом тяжелое тело через себя, рванул руку книзу, ощущая по хрустящему звуку как в локте ломаются суставы. Русая, витая, как у ягненка, голова, давя снег, воткнулась в сугроб.

По проулку, притинаясь под плетнем, Григорий кинулся к Дону. Ноги, пружинисто отталкиваясь, несли его к спуску... «Лишь бы заставы не было, а там...» На секунду стал: сзади на виду весь Аникушкин баз. Выстрел. Хищно прожужжала пуля. Выстрелы еще. Под гору, по темному переезду за Дон. Уже на середине Дона, взвывая, вгрызлась возле Григория в чистую круговину пузырячатого льда, осколки посыпались, обжигая Григория шею. Перебежав Дон, он отлянул. Выстрелы все еще хлопали пастушечьим аралником. Григория не согрела радость избавления, но чувство равнодушия к пережитому смутило: «Как за зверем били!» — механически подумал он, опять

останавливаясь. «Искать не будут. Побоятся в лес идти. Руку-то ему полечил не плохо. Ах, подлюга, казака хотел голыми руками взять!»

Направился к зимним скирдам, но, из опаски, миновал их, долго, как заяц на жировке, вязал петли следов. Ночевать решил в брошенной копне сухого чакана. Разреб вершину. Из-под ног скользнула норка. Зарылся с головой в гнильно-пахучий чакан, подрожал. Мыслей не было. Краюшком, нехотя подумал: «Заседлать завтра и махнуть через фронт к своим?» — но ответа не нашел в себе, притих.

К утру стал зябнуть. Выглянул: над ним отрадно и трепетно сияла утренняя зарница и в глубочайшем провале иссиня-черного неба, как в Дону на перекате, будто показалось дно: предрассветная дымно-голубая лазурь в зените, гаснущая звездная россыпь по краям.

XVIII

Фронт прошел. Отгремели боевые деньки. В последний день пулеметчики 13 кавполка перед уходом поставили на широкоопинные тавричанские сани Моховский граммофон, долго вскачь мылили лошадей по улицам хутора. Граммофон хрипел и харкал (в широкую торловину трубы попадали снежные ошметья, летевшие с конских копыт), пулеметчик в сибирской ушастой шапке беспечно прочищал трубу и орудовал резной ручкой граммофона так же уверенно, как и ручками затыльника. А сзади серой воробьиной тучей сыпали за санями ребятишки, цепляясь за прядушку, орал: «Дядя, заведи энту, какая свистит! Заведи, дядя!» Двое счастливейших сидели на коленях пулеметчика и тот в перерывах, когда не крутил ручку, заботливо и сурово вытирал варежкой младшему парнишке облупленный, мокрый от мороза и великого счастья нос.

Потом слышно было, как около Усть-Мечетки шли бои. Через Татарский редкими валками тянулись обозы, питавшие продовольствием и боевыми припасами 8 и 9 армию южного фронта.

На третий день посыльные шли подворно, оповещали казаков о том, чтобы шли на сход.

— Краснова, атамана, будем выбирать! — сказал Антип Брехович, выходя с мелеховского база.

— Выбирать будем, или нам его сверху

спустют? — поинтересовался Пантелей Прокофьевич.

— Там, как придется.

На собрание пошли Григорий и Петро. Молодые казаки собрались поголовно. Стариков не было, один только Авдеич Брех, собрав курагот зубоскалов, тачал о том, как стоял у него на квартире красный комиссар и как приглашал он его, Авдеич, занять командную должность.

— Я, — говорит, — не знал, што вы — вахмистр старой службы, а то — с нашим удовольствием — заступайте, отец, на должность...

— На какую ж! За старшева, — куда пошлют? — скалился Мишка Кошевой.

Его охотно поддерживали:

— Начальником над комиссарской кобылой. Надхвостницу ей подымать.

— Бери выше!

— Го-го!

— Авдеич! Слышь! Это он тебя в обоз третьево разряда малосолкой заведывать.

— Вы не знаете делов всех... Комиссар ему речи разводил, а комиссаров вестовой тем часом к его старухе прилабунился. Шшупал ее. А Авдеич слюни распустил, сопли развешал — слушает...

Остановившимися глазами Авдеич осматривал всех, лгтал слюну, спрашивал:

— Кто последние слова производил?

— Я! — храбрился кто-то сзади.

— Видали такова сукина сына? — Авдеич поворачивался, ища сочувствия, и оно приходило в изобилии.

— Он гад, я давно говорю.

— У них вся порода такая.

— Вот был бы я помоложе... — щеки у Авдеича загорались, как гроздь калины. — Был бы помоложе, я бы тебе показал развяку! У тебя и выходка вся хохлячья! Мазница ты таганрогская! Гашник хохлячий!..

— Чево ж ты, Авдеич, не возьмешься с ним? Кужонок супротив тебя.

— Авдеич отломил, видно...

— Бойтся, пупок у него с натуги развяжется!..

Рев провожал с достоинством отходившего Авдеича. По майдану кучками стояли казаки. Григорий, давным давно не видевший Мишку Кошевого, подошел к нему.

— Здорово, полчок!

— Слава богу.

— Где пропадал? Под каким знаменем?

службцу ломал? — Григорий улыбнулся, сжимая руку Мишки, засматривая в голубые его глаза.

— Ого! Я, браток, и на отводе, и в штрафной сотне на Калачевском фронте был. Где только не был! Насилу домой прибил. Хотел к красным на фронте перебежать, но за мной глядели дюжей, чем мать за непробованной девкой глядит. Иван-то Алексеевич надьсь приходит ко мне, бурка на нем, походная справа. «Ну, мол, винтовку наизготовку — и пошел». Я только што приехал спрашиваю: «Неужели будешь отступать?» Он плечми дрогнул, говорит: «Велят, атаман присылал. Я ить при мельнице служил, на учете у них». Попрощался и ушел. Я думал, он и справди отступил. На другой день Мценский полк уже прошел, гляжу — является, да вот он метется! Иван Алексеевич!

Вместе с Иваном Алексеевичем подошел и Давыдка-вальцовщик. У Давыдки — полон рот кипенных зубов, смеется, будто железку нашел. А Иван Алексеевич помял руку Григория в своих маслаковых пальцах, налет * провонявших машинным маслом, поцокал языком:

— Как же ты, Гриша, остался?

— А ты как?

— Ну, мне-то... Мое дело другое.

— На мое офицерство указываете? Рисканул! Остался... Вчера чуть не убили... Когда погнались, зачали стрелять, — пожалел, што не ушел, а теперь опять не жаю.

— За што привязались-то? Это из 13-го?

— Они. Гуляли у Аникушки. Кто-то доказал, што офицер я. Петра не тронули, ну, а меня... За погоны возгрелось дело. Ушел за Дон, руку одному кучерявому попортил трошки... Они за это пришли домой, мое все дочиста забрали. И шаровары, и поддевки. Што на мне было, то и осталось.

— Ушли бы мы в красные тогда, перед Подтелковым... Теперь не пришлось бы глазами моргать. — Иван Алексеевич скил в улыбку, стал закуривать.

Народ все подходил. Собрание открыл приехавший из Вешенокой подхорунжий Лапченков, сподвижник Фомина.

— Товарищи-станишники! Советская власть укоренилась в нашем округе. Надо установить правление, выбрать исполком, председателя и заместителя ему. Это — один вопрос, а затем привез я приказ от

окружного совета, он короткий: сдать все огнестрельное и холодное оружие.

— Здорово! — ядовито сказал кто-то сзади. И потом надолго во весь рост встала тишина.

— Тут нечево, товарищи, такие возгласы выкрикивать! — Лапченков вытянулся, положил на стол папаху. — Оружие, понятно, надо сдать, как оно не нужное в домашности. Кто хочет иттить на защиту Советов — тому оружие дадут. В трехдневный срок винтовочку снесите. Затем приступаем к выборам. Председателя я обяжу довести приказ до каждого, и должен он печать у атамана забрать и все хуторские суммы.

— Они нам давали оружию, што лапу на нево накладывают?

Спрашивавший еще не докончил фразы, к нему дружно все повернулись. Говорил Захар Королев.

— А на што она тебе сдалась? — просто спросил Христоня.

— Она мне не нужна. Но уговору не было, как мы пуцали Красную армию через свой округ, штобы нас обезоруживали.

— Верно!

— Фомина говорил на митинге!

— Шашки на свои копейки справляли!

— Я со своим винтом с германской пришел, а тут отдай, значит?

— Оружие, скажи, не отдадим!

— Казаков обобрать норовят! Я што же значу без вооружения? На каком полозу я должен ехать? Я без оружия, как баба с задратым подолом, — голый.

— При нас останется!

Мишка Кошевой чинно попросил слово:

— Дозвольте, товарищи! Мне даже дозвольно удивительно слушать такие разговоры. Военное положение или нет у нас?

— Да нехай хучь сзади военнова!

— А раз военное — гутарить долго нечево. Вынь и отдай! Мы-то не так делали, как занимали хохлачи слободы?

Лапченков погладил свою папаху и как припечатал:

— Кто в этих трех днях не сдаст оружие, будет предан революционному суду и расстрелян, как контра.

После минуты молчания, Томилин, кашляя, прохрипел:

— Просим выбирать власть!

Двинули кандидатуры. Накричали с десятка фамилий. Один из молодятни крикнул:

— Авдеича!

Однако шутка успеха не возымела. Первым голосовали Ивана Алексеевича. Прошел единогласно.

— Дальше и голосовать нечево,— предложил Петро Мелехов.

Сход охотно согласился, и товарищем председателя выбрали без голосования Мишку Кошевого.

Мелеховы и Христоня не успели до дома дойти, а Аникушка уж повстречался им на полдороге. Подмышкой нес винтовку и патроны, завернутые в женину завеску. Увидел казаков — засовестился, шмыгнул в боковой переулочек. Петро глянул на Григория, Григорий на Христоню. Все, как поговору, улыбнулись.

XIX

Казакует по родимой степи восточный ветер. Лога позанесло снегом. Падины и яры сравняло. Нет ни дорог, ни тропок. Кругом, наперекрест, прилизанная ветрами, белая голая равнина. Будто мертва степь. Изредка пролетит в вышине ворон, древний, как эта степь, как курган над летком в снежной шапке с бобровой княжеской опушкой чернобыла. Пролетит ворон, со свистом разрубая крыльями воздух, роняя стонущий клекот. Ветром далеко понесет его крик, и долго и грустно будет звучать он над степью, как ночью в тишине нечаянно тронутая басовая струна.

Но под снегом все же живет степь. Там, где, как замерзшие волны, бугрится серебряная от снега пахота, где мертвой зыбью лежит заволоченная с осени земля,— там, сцепившись в почву жадными, живучими корнями, лежит поваленное морозом озимое жито. Шелковисто-зеленое, все в слезинках застывшей росы, оно зябко жметя к хрупкому чернозему, кормится его живительной черной кровью и ждет весны, солнца, чтобы встать, ломая стаявший, паутинно-тонкий алмазный наст, чтобы буйно зазеленеть в мае. И оно встанет, выждав время! Будут биться в нем перепела, будут звенеть над ним апрельский жаворонок. И так же будет светить ему солнце и тот же будет баюкать его ветер. До поры, пока вызревший, полнозерный колос, мятый ливнями и лютыми ветрами, не поникнет виновато усатой головой, не ляжет под косой хозяина, покорно роняя на току литое, тяжеловесное зерно.

Все Обдонье жило потаенной, придавленной жизнью. Жухлые подходили дни. События стояли у грани. Черный слушок полз с верховьев Дона, по Чиру, по Цудкану, по Хопру, по Еланке, по большим и малым речкам, усыпанным казачьими хуторами. Говорили о том, что не фронт страшен, прокатившийся волной и легший возле Донца, а чрезвычайные комиссии и трибуналы. Говорили, что со дня на день ждут их в станицах, что будто бы в Мигулинской и Казанской уже появились они и вершат суды короткие и неправые над казаками, служившими у белых. Будто бы то обстоятельство, что бросили верхнедонцы фронт, оправданием не служит, а суд до отказа кроет: обвинение, пара вопросов, приговор — и под пулеметную очередь. Говорили, что в Казанской и Шумилинской вроде уж не одна казачья голова валяется в хворосте без призра... Фронтвики только посмеивались: «Брехня! Офицерские сказочки! Кадеты давно нас Красной армией пугают!»

Слухам верили и не верили. И до этого мало ли что брехали по хуторам. Слабых духом молва толкнула на отступление. Но когда фронт прошел, не мало оказалось и таких, кто не спал ночами, кому подушка была горяча, постель жестка и родная жена не мила.

Иные уж и жалковали о том, что не ушли за Донец, но сделанного не воротилшь, уроненную слезу не поднимешь...

В Татарском казаки собирались вечерами на проулках, делились новостями, а потом шли пить самогон, кочуя из куреня в курень. Тихо жил курень и горьковато. Вначале мясоеда одна лишь свадьба прозвенела бубенцами: Мишка Кошевой выдал замуж сестру. Да и про ту говорили с ехидной издевкой:

— Нашли время жениться! Пристичию, видно!..

На другой день после выборов власти хутор разоружился до двора. В Моховском доме, занятом под ревком, теплые сени и коридор завалили оружием. Петро Мелехов тоже отнес свою и Григория винтовку, два нагана и шашку. Пару офицерских наганов братья оставили, а сдали лишь те, что остались еще от германской. Облегченный Петро пришел домой. В горнице Григорий, засучив по локоть рукава, разбирал и отмачивал в керосине приржавевшие части

двух винтовочных затворов. Винтовки стояли у лежанки.

— Это откуда? — у Петра даже усы обвисли от удивления.

— Батя привез, когда ездил ко мне на Филоново.

У Григория в сужившихся прорезях глаз заиграли светлячки. Он захохотал, лапая бока смоченными в керосине руками. И так же неожиданно оборвал смех, по-волчьи клацнув зубами.

— Винтовки — это што... Ты знаешь, — зашептал он, хотя в курене никого чужого не было, — отец мне нынче признался, — Григорий снова подавил улыбку. — У него пулемет есть.

— Бре-ше-ешы! Откуда? Зачем?

— Говорит, казаки-обозники ему отдали за сумку кислова молока, а по-моему, брешет, старый чорт! Украл, небось! Он ить, как жук навозный, тянет все, што и поднять не в силах. Шепчет мне: «Пулемет у меня есть, зарытый на тумне. Пружина в нем, гожая на нарезные крючки, но я ее не трогал». Зачем он тебе? — спрашиваю. «На дорогую пружину позавидовал, может, ишо на што согдится. Штука ценная, из железа...»

Петро обозлился, хотел итти в кухню к отцу, но Григорий рассоветовал.

— Брось. Помоги почистить и прибрать. Чево ты с нево спросишь? Протирая стволы, Петро долго сопел, а потом раздумчиво сказал:

— Оно, может, и правда... согдится? Не-хай лежит.

В этот день Томилин Иван принес слух, что в Казанской идут расстрелы. Покурили у печки, погутарили, Петро под разговор о чем-то упорно думал. Думалось с непривычки трудно, до бисера на лбу. После ухода Томилина он заявил:

— Зараз поеду на Рубежин к Яшке Фомину. Он у своих нынче, слышал я. Говорят, он окружным ревкомом заворачивает, как никак — кочка на ровном месте. Попрошу, штоб, на случай чево, заступился.

В пичкатые сани¹ Пантелей Прокофьевич запряг кобылу. Дарья укуталась в новую шубу и о чем-то долго шепталась с Ильиничной. Вместе они шмыгнули в амбар, оттуда вышли с узлом.

— Чево это? — спросил старик.

Петро промолчал, а Ильинична скороговоркой шепнула:

— Я тут маслица насбирала, блвола на всяк случай. А тепер уж не до масла, отдала его Дарье, нехай Фоминихе гостинца повезет, может, он согдится Петюшке, — и заплакала. — Служили, служили, жизнью решались, и тепер за погоны за ихние тово и гляди...

— Цыц, голосуха! — Пантелей Прокофьевич с сердцем кинул в сено кнут, подошел к Петру:

— Ты ему пшенички посули.

— На чорта она ему нужна! — вспыхнул Петро.

— Вы бы, батя, лучше пошли к Анижушке дымки купили, а то пшеницы...

Под полой Пантелей Прокофьевич принес ведренный кувшин самогона, отозвался одобрительно:

— Хороша водка, мать ее курица! Как николаевская.

— А ты уж хлебнул, кобель старый! — насыпалась на него Ильинична, но старик вроде и не слышал, по-молодому похромал в курень, сыто, по-котовски, жмурясь, побрякивая и вытирая рукавом обожженные дымкой губы.

Петро тронул с двора и, как гость, ворота оставил открытыми.

Вез и он подарок могущественному тепер сослуживцу: кроме самогона, отрез довоенного шевюта, сапоги и фунт дорогого чая с цветком. Все это раздобыл он в Лисках, когда 28 полк с боем взял станцию и рассыпался грабить вагоны и склады. Тогда же в отбитом поезде захватил он корзину с дамским бельем. Сослал ее с отцом, приезжавшим на фронт. И Дарья, на великую зависть Наталье и Дуняшке, защеголяла в невиданном досель белье. Тончайшее заграничное полотно было блее снега, шелком на каждой штучке были вышиты герб и инициалы. Кружева на панталонах вздымались пышнее пены на Дону. Дарья в первую ночь по приезде мужа легла спать в панталонах.

Петро перед тем, как гасить огонь, несходительно ухмыльнулся:

— Муцинские исподники подцепила и носишь?

— В них теплее и красивше, — мечтательно ответила Дарья. — Да их и не поймешь, кабы они муцинские были, — была б

¹ Розвальни.

длиннее, и кружева, на што они вашему брату?

— Должно, благороднова звания мушцины с кружевами носят. Да мне-то што? Носи,— сонно почесываясь, ответил Петро.

Вопрос этот его особенно не занимал. Но в последующие дни ложился он рядом с женой, уже с опаской отодвигаясь, с невольным почтением и беспокойством глядя на кружева, боясь малейше коснуться их и испытывая к Дарье некоторое отчуждение. К белью он так и не привык: на третью ночь, озлившись, решительно потребовал:

* — Скидай к чорту штаны свои! Не гоже их бабе носить, и они вовсе не бабские. Лежишь, как барыня! Ажник какая-то чу-жая в них!

Утром встал он раньше Дарьи; покашливая и хмурясь, попробовал применить панталоны на себе. Долго и настороженно глядел на завязки, на кружева и на свои голые, ниже колен, волосатые ноги. Повернулся, и, нечаянно увидев в зеркале свое отображение с пышными складками назад, плюнул, чертыхнулся, медведем полез из широкайших штанин. Большим пальцем ноги зацепился в кружевах, чуть не упал на сундук и, уже разъярясь всерьез, разорвал завязки, выбрался на волю. Дарья сонно спросила:

— Ты чево?

Петро обиженно промолчал, сопя и часто поплеывая. А панталоны, которые, неизвестно на какой пол шились, Дарья в тот же день, вздыхая сложила в сундук (там лежало еще не мало вещей, которым все бабы не могли найти применения). Сложные вещи эти должны были впоследствии перешить на лифчик. Но юбки Дарья использовала: были они неведомо для чего коротки, но хитрая владелица наставила сверху так, чтобы нижняя юбка была длиннее длинней верхней, чтобы виднелись на полчетверти кружева. И пошла Дарья щеголять, замечать голландским кружевом земляной пол...

Вот и сейчас, отправляясь с мужем на гости, была она одета богато и видно. Под донской опушенной поречьем шубой и кружева исподней виднелись и верхняя шерстяная была добротна и нова, чтобы поняла вылезшая из грязи в князи фоминовская жена, что она не простая казачка, а как-никак офицерша.

Петро помахивал кнутом, чмокал губами. Брюхатая кобылка с облезлой кобаржиной трюпком бежала по накатанной дороге по Дону. В Тубежин приехали к обеду. Фомин действительно оказался дома. Он встретил Петра по-хорошему, усадил его за стол, улыбнулся в рыжеватые усы, когда отец его принес из Петровых сеней запущенный инеем, осыпанный сеной трухой кувшин.

— Ты штой-то, односум, и глаз не кажешь,— говорил Фомин протяжно, приятным баском, искоса поглядывая на Дарью, широко поставленными голубыми глазами женолюба и с достоинством закручивал ус.

— Сам знаешь, Яков Ефимыч, частя шли, время сурьезное...

— Оно-то так. Баба! Ты бы нам огурцов, капустаки, рыбки донской сушеной.

В тесной хате было жарко натоплено. На печи лежали детишки: похожий на отца малычик, с такими же голубыми, широкими в поставе глазами, и девочка. Подвыпив, Петро приступил к делу.

— Гутарют по хуторам, будто чеки приехали, добираются до казаков.

— Трибунал 15 Инзенской дивизии в Вешенскую приехал. Ну, а што такое? Тебе-то што?

— Как же, Яков Ефимыч, сами знаете,— офицер считаюсь. Я-то офицер, можно сказать — одна видимость.

— Ну, как што? — Фомин чувствовал себя хозяином положения. Хмель сделал его самоуверенным и хвастливым. Он все приосанивался, оглаживал усы, смотрел исподлобно, властно.

Раскусив его, Петро прикинулся сиротой, униженно и подобострастно улыбался, но с «вы» незаметно перешел на «ты».

— Вместе служили с тобой. Плохова про меня ты не можешь сказать. Или я был когда супротив? Сроду нет! Покарай бог, я всегда стоял за казаков!

— Мы знаем. Ты, Петро Пантелеевич, не сумлевайся. Мы всех наизусть выучили. Тебя не тронут. А кое до ково мы доберемся. Кой-кого возьмем за киршу. Тут много гадов засело. Остались, а сами себе на уме. Оружие хоронют... Ты-то отдал свое? А?

Фомин так быстро перешел от медлительной речи к натиску, что Петро на мигу растерялся, кровь заметно кинулась ему в лицо.— Ты-то сдал? Ну, чево ж ты? — наседали Фомин, перегинаясь через стол.

— Сдал, конечно, Яков Ефимыч, ты не подумай... я с открытой душой...

— С открытой? Знаем мы вас... Сам ту-тошний,—он пьяно подмигнул, раскрыл плоскозубый ядреный рот.— С богатым казачком одной рукой ручкайся, а в другой нож держи, а то саданет... Собаки! Откровенных нету! Я перевидал немало людей. Предатели! Но ты не бойсь, тебя не тронут. Слово — слово!

Дарья закусывала холодцом, из вежливости почти не ела хлеба. Ее усердно угощала хозяйка.

Уехал Петро уже перед вечером, обнадеженный и веселый, увезя обратно шевиот, сапоги и фунт дорогого чая.

Проводив Петра, Пантелей Прокофьевич пошел проведать свата Коршунова. Он был у него перед приходом красных. Лукинична собирала тогда Митьку в дорогу, в доме была суета, беспорядок. Пантелей Прокофьевич ушел, почувствовав себя лишним. А на этот раз решил пойти узнать, все ли благополучно, да кстати погоревать вместе о наступивших временах.

Дохромал он в тот конец хутора несколько. Постаревший и уже растерявший несколько зубов, дед Гришака встретил его на базу. Было воскресенье, и он направлялся в церковь к вечерне. Пантелей Прокофьевича с ног шибануло при взгляде на свата: под распахнутой шубой у него виднелись все кресты и регалии за турецкую войну, красные петлички вызывающе сияли на стоячем воротничке старинного мундира, старчески обвисшие шаровары с лампасами были аккуратно вобраты в белые чулки, а на голове по самые восковые крупные уши надвинут картуз с кокардой.

— Што ты, дедушка! Сваток, аль ты не при уме? Да кто же в эту пору кресты носит, кокарду?

— Ась? — дед Гришака приставил к уху ладонь.

— Кокарду, говорю, сыми! Кресты скинь! Заарестуют тебя за такое подобное. При советской власти нельзя, закон возбраняет.

— Я, соколик, верой-правдой своему белому царю служил. А власть эта не от бога. Я их за власть не сознаю. Я Александрю царю присягал, а мужикам я не присягал, так-то! — Дед Гришака пожевал блеклыми губами, вытер зеленую цветень усов и ткнул

костылем в направлении дома.— Ты к Мирону, што ль? Он дома. А Митюшку проводили мы в отступ. Сохрани ево, царица небесная. Твои-то остались? Ась? А то што ж... Вот они какие казачки-то пошли... Наказному, небось, присягали; войску нужда подошла, а они остались при женах... Натальюшка жива-здорова?

— Живая. Кресты воротись, сыми, сват! Не полагается их теперь. Господи-боже, одурел ты, сваток?

— Ступай с богом! Молод меня учить-то! Ступай себе. — Дед Гришака пошел прямо на свата, и тот уступил ему дорогу, сойдя со стезки в снег, оглядываясь и безнадежно качая головой.

— Служивова нашево встrel? Вот наказание! И не приберет ево господь.— Мирон Григорьевич, заметно сдавший за эти дни, встал навстречу свату.— Нацепил свои висюльки, фуражку с кокардой надел и пошел. Хучь силом с него сьмай; чисто дите стал, ничево не понимает.

— Нехай тешится, недолго уж ему. Ну, как там наши? Мы прослыхали, будто Гришу дерзали анархисты?

Лукинична подседа к казакам, горестно подперлась: — У нас, сват, ить какая беда... Четырех коней взяли, оставили кобылу да стригуна. Разорили вчистую!

Мирон Григорьевич прижмурил глаз, будто прицеливаясь, и заговорил по-новому с вызревшей злостью: — А через што жизнь рухнула? Кто причиной? Вот эта чортова власть! Она, сват, всему виновата. Да разве это мысленное дело — всех сравнять? Да ты из меня душу тяни, я не согласен! Я всю жизнь работал, храп гнул, потом омывался, и штобы мне жить ровно с энтим, какой пальцев не ворохнул, штоб выйтить из нужды? Нет уж, трошки погодим! Хозяйственному человеку эта власть жилы режет. Через это и руки отваливаются: к чему зараз наживать, на ково работать? Нынче наживешь, а завтра придут да под греблю... И што, сваток: был у меня надьсь одноум с хутора Мрыхина, разговор вели... Фронт-то вот он — возля Донца. Да разве ж удержится? Я, по правде сказать, надежным людям втолковываю, што надо нашим, какие за Донцом от себя пособить...

— Как так пособить? — с тревогой, почему-то шопотом спросил Пантелей Прокофьевич.

— Как пособить? Власть эту пихнуть!

Да так пихнуть, чтоб она опять очутилась ажник в Тамбовской губернии. Нехай там равнение делает с мужиками. Я все имущество до нитки отдам, лишь бы уничтожить этих врагов. Надо, сват, народ вразумить... Пора, а то поздно будет. Казаки, односум говорил, волнуются и у них. Только бы подружной взяться! — и перешел на быстрый, захлебывающийся шопот: — Частя прошла, а сколько их тут осталось? Считанные люди! По хуторам одни председатели... Головы им поотвечать — пустяковое дело. А в Вешках, ну, што ж... Миром-собором навалиться — на куски порвем! Наши в траду не дадут, соединимся... Верное дело, сват!

Пантелей Прокофьевич встал; взвешивая слова, опасливо советовал:

— Гляди, посклизнешься, — беды наживешь! Казаки-то хучь и шатаются, а чума всех знает, куда потянут, об этих делах ноне толковать не со всяким можно... Молодых вовсе понять нельзя, вроде зажмурки живут... Один отступил, другой остался. Трудная жизнь: не жизнь, а потемки.

— Не сумлевайся, сват! — снисходительно улыбался Мирон Григорьевич. — Я мимо не скажу. Люди, што овцы: куда баран, туда и весь табун. Вот и надо показать им путя! Глаза на эту власть открыты надо. Тучи не будит — гром не ударит. Я казакам прямо говорю: восставать надо! Слух есть, будто они приказ отдали — всех казаков перевесть. Об этом как надо понимать?

У Мирона Григорьевича сквозь конопины проступала краска.

— Забрали! Ну, што оно будет, Прокофьич! Гутарют, расстрелы начались... Какая ж это жизнь? Гляди, как рухнулось все за эти года! Гасу нету, серников — тоже, одними конфетами Мохов на последях торговал. А посева? Супротив прежнева сколько сеют? Коней перевели... У меня вот забрали, у другова. Забирать-то все умеют, а разводить кто будет? У нас раньше, я ишо парнем был, восемьдесят шесть лошадей было. Помнишь, небось? Скакуны были, хучь калмыка догоняй. Рыжий с прозвездью был у нас тогда. Я на нем зайцев топтал. Выеду оседлавши в степь, подыму зайца в бурьянах и сто сажень не отпущу — стопчу конем. Как зрраз помню. — По лицу Мирона Григорьевича пролегла горячая улыбка. — Выехал так-то к ветрякам, гляжу — заяц коптит прямо на меня. Выправился я к нему, он — виль, до под гору, да через

Дон! На масляну дело было. Снег по Дону посогнало ветром, оклизь. Разгонись я за тем зайцем, конь посклизнулся, вдарился со всех ног и головы не приподнял. Затрусилось все на мне! Снял с него седло, прибегаю в куреня. «Батя, — конь убился подо мной! За зайцем гнал» — «А догнал?» — «Нет». — «Седлай воронова, догони, сукин сын!» Вот времена были! Жили — кохались казачки. Конь убился — не жалко, а надо зайца догнать. Коню сотня цена, а зайцу гривенник... Эх, да што толковать!

От свата Пантелей Прокофьевич ушел растерявшийся еще больше, насквозь отравленный тревогой и тоской. Теперь уж чувствовал он со всей полнотой, что какие-то иные, враждебные ему начала вступили в управление жизнью. И если раньше правил он хозяйством и вел жизнь как хорошо наезженного коня на скачках с препятствиями, то теперь жизнь несла его, словно взбесившийся, залпленный конь, и он уже не правил ею, а безвольно мотался на ее колышущейся хребтине и делал жалкие усилия не упасть.

Мгла нависла над будущим. В тумане прожитого маячит прошлое. Давно ли был Мирон Григорьевич богачейшим хозяином в округности? Но последние три года истощили его мощь. Разошлись работники, в девятиро уменьшился посев, за так и за пьяно качавшиеся обесцененные деньги пошли с база быки и кони. Было все будто во сне. И прошло, как текучий туман над Доном. Один дом с фигурным балконом и вылинявшими резными карнизами остался памятной. Раньше времени высветлила седина лисью рыжевень Коршуновской бороды, перекинулась на виски и поселилась там вначале, как сибирек на супеси, — пучками, а потом осилила рыжий цвет и стала на висках полновластной соленая седина; и уже тесня, отнимая по волоску, владела надлобьем. Да и в самом Мироне Григорьевиче свирепо боролись два этих начала: бунтовала рыжая кровь, гнала на работу, понуждала сеять, строить сараи, чинить инвентарь, богатеть; но все чаще наведывалась тоска — «не к чему наживать, пропадет!», красила все в белый мертвенный цвет равнодушия. Страшные в своем безобразии кисти рук не хватались, как прежде, за молоток или ручную пилку, а праздно лежали на коленях, шевеля изуродованными, пряз-

ными пальцами. Старость привело безвременье. И стала постыла земля, по весне шел к ней, как к немилый жене, по привычке, по обязанности. И наживал без радости и лишался без прежней печали... Забрали красные лошадей, он и виду не показал, а два года назад за пустяк, за копну, истоптанную быками, едва не запорол вилами жену. «Хапал Коршунов и наелся, обратно прет из нево» — говорили про него соседи.

Пантелей Прокофьевич прихромал домой, прилег на койке. Сосало под ложечкой, к горлу подступала колючая тошнота. Повечеряв, попросил он старуху достать соленого арбуза. Съел ломоть, задрожал, еле дошел до печки. К утру он уже валялся без памяти, пожираемый тифозным жаром, кинутый в небытие. Запекшиеся кровью губы его растрескались, лицо пожелтело, белки глаз подернулись голубой эмалью. Баба Дроздыха отворила ему кровь, нацедила из жилы на руке две тарелки черной, как деготь, крови. Но сознание к нему не вернулось, только лицо иссиня побелело да шире раскрылся чернозубый рот, с хлопом вбивший воздух.

XX

24 января Иван Алексеевич выехал в Вешенскую по вызову председателя окружного ревкома. К вечеру он должен был вернуться. Его ждали. Мишка Кошевой сидел в пустынном Моховском доме, в бывшем кабинете хозяина, за широким, как двухспальная кровать, письменным столом. На подоконнике (в комнате был только один стул) полулежал присланный из Вешенской милиционер Ольшанов. Он молча курил, плевал далеко и искусно, каждый раз отмечая плевком новую кафельную плитку камина. За окнами стояло зарево звездной ночи. Покоилась гулкая морозная тишина. Мишка подписывал протокол обыска у Степана Астахова, изредка поглядывая в окно на обсахаренные инеем ветви кленов.

По крыльцу кто-то прошел, мягко похруывая валенками.

— Приехал.

Мишка встал, но в коридоре чужой кашель, чужие шаги. Вошел Григорий Мелехов в наглухо застегнутой шинели, бурый от мороза, с осевшей на бровях и усах изморозью.

— Я на огонек. Здорово живешь!

— Проходи, жалься.

— Не на што жалиться. Побрехать зашел да кстати сказать, штоб в обывательские не назначали. Кони у нас в ножной.

— А быки? — Мишка сдержанно покосился.

— На быках какая ж езда? Сколизь.

Отдирая шагами окованные морозом доски, кто-то крупно прошел по крыльцу. Иван Алексеевич в бурке и по-бабьи завязанном башлыке ввалился в комнату. От него хлынул свежий холодный воздух, запах сена и табачной гари.

— Замерз, замерз, ребятки! Григорий, здравствуй! Чево ты по ночам шалаешься? Чорт эти бурки придумал, ветер сквозь нее, как через сито!

Разделся и, еще не повесив бурки, заговорил:

— Ну, повидал я председателя. — Иван Алексеевич, сияющий, блестя глазами, подошел к столу. Одолевала его нетерпичка рассказать. — Вошел к нему в кабинет. Он поручался со мной и говорит: «Садитесь, товарищ». Это окружной! А раньше как было? Генерал-майор! Перед ним как стоять надо было? Вот она наша власть-любушка! Все ровные! Его оживленное, счастливое лицо, суетня возле стола и эта восторженная речь были непонятны Григорию, спросил:

— Чему ты возрадовался, Алексеев?

— Как — чему? — У Ивана Алексеевича дрогнул продавленный дыркой подбородок. — Человека во мне увидали, как же мне не радоваться? Мне руку, как ровне дал, посадил...

— Генералы тоже в рубашках из мешков стали последнее время ходить. — Григорий ребром ладони выпрямил ус, сощурился. — я на одном видал и погоны чернильным карандашом сделанные. Ручку тоже казакам давали...

— Генералы от нужды, а эти от природы. Разница?

— Нету разницы! — Григорий покачал головой.

— По-твоему, и власть одинаковая? За што же тогда воевали? Ты вот — за што воевал? За генералов? А говоришь — одинаково.

— Я за себя воевал, а не за генералов. Мне, если на правдок гутарить, не те, не эти не по совести.

— А кто же?

— Да никто!

Ольшанов плюнул через всю комнату, сочувственно засмеялся. Ему, видно, тоже никто по совести не пришелся.

— Ты раньше будто не так думал.— Мишка сказал с целью узнать Григория, но тот и виду не подал, что замечание его задело.

— И я, и ты—все мы по-разному думали...

Иван Алексеевич хотел, выпроводив Григория, передать Мишке поподробней о своей поездке и беседе с председателем, но разговор начал его волновать; очертя голову, под свежим впечатлением виденного и слышанного в округе, он кинулся в спор:

— Ты нам голову пришел морочить, Григорий! Сам ты не знаешь, чево ты хочешь.

— Не знаю,—охотно согласился Григорий.

— Чем ты эту власть корить будешь?

— А чево ты за нее распинаешься? С каких это ты пор так покраснел?

— Об этом мы не будем касаться. Какой есть теперь, с таким и гутарь. Понял? Власти тоже дже не касайся, потому—я председатель, и мне тут с тобой не гоже спорить.

— Давай бросим. Да мне и пора уж. Это я в счет обывательских зашел. А власть твоя—уж как хочешь—а поганая власть. И ты хвалишь ее, как мамаша: «Хучь сопливенький, да наш». Ты мне скажи прямо, и мы разговор кончим:—Чево она дает нам, казакам?

— Каким казакам? Казаки тоже разные.

— Всем, какие есть.

— Свободу, права... Да ты погоди!.. Погодой, ты чево-то...

— Так в семнадцатом году говорили, а теперь надо новое придумывать!—перебил Григорий.—Земли дает? Воли? Сравняет? Земли у нас хоть заглотнись ею. Воли больше не надо, а то на улицах будут друг-другу резать. Атаманов сами выбирали, а теперь сажают. Кто его выбирал, какой у тебя ручкой обрадовал? Казакам эта власть, окромя разору, ничево не дает! Мужичья власть, им она и нужна. Но нам и генералы не нужны. Ни коммунисты, ни генералы не нужны.

— Богатым казакам не нужна, а другим. Дурья голова! Богатых-то в хуторе трое, а энти бедные. А рабочих куда денешь? Нет, мы так судить с тобой не можем! Некай богатые казаки от сытова рта оторвут

кусок и дадут голодному. А не дадут—с мясом вырвем! Будя пановать! Заграбили землю...

— Не заграбили, а завоевали! Прадеды наши кровью ее полили, оттово, может, и родит наш чернозем.

— Все равно, а делиться с нуждой надо. Равнять—так равнять! А ты на холостом ходу работаешь. Куда ветер, туда и ты, как флюгерок на крыше. Такие люди, как ты, жизнь мутят!

— Поймай, ты не ругайся! Я по старой дружбе пришел погутарить, сказать, што у меня в грудях накопело. Ты говоришь—равнять... Этим темный народ большевики и приманули. А куда это равнение делось? Красную армию возьми: вот шли через хутор. Взводный в хромовых сапогах, а «Ванек» в обмоточках. Говорили на фронте: «Все ровные будем. Привада одна! Уж ежели пан плох, то из хама пан во сто раз хуже! Какие бы поганые офицеры не были, а как из казуни выйдет какой в офицеры,—ложись и помирай, хуже ево не найдешь! Он такова же образования, как и казак: быкам хвосты учился крутить, а глядишь—вылез в люди и делается от власти пьяный и готов шкуру с другого спустить, лишь бы усидеть на этой полочке.

— Твои слова—контра!—холодно сказал Иван Алексеевич, но глаза на Григория не поднял.—Ты меня на свою борозду не своротишь, а я тебя и не хочу заламывать. Давно я тебя не видал и не пытаю,—чужой ты стал. Ты советской власти враг!

— Не ждал я от тебя... Ежели я думаю за власть, так я—контра? Кадет?

Иван Алексеевич взял у Ольшанова кисет, уже мяче сказал:

— Как я тебя могу убедить? до этого своими мозгами люди доходят. Сердцем доходят! Я словами не справен по причине темноты своей и малой грамотности. И я до многова дохожу ощупкой...

— Кончайте!—яростно крикнул Мишка.

Из исполкома вышли вместе. Григорий молчал. Тяготясь молчанием, не оправдывая чужого метания, потому что далеко был от него и смотрел на жизнь с другого кургана,—Иван Алексеевич на прощанье сказал:

— Ты такие думки при себе держи. А то, хоть и знакомец ты мне, и Петро ваш кумом доводится, а найду я против тебя средства! Казаков нечево шатать, они и так

шатаются. И ты поперек дороги нам не становись. Стопчем! Прощай!

Григорий шел, испытывая такое чувство, будто перешагнул порог, и то, что казалось неясным, неожиданно встало с предельной яркостью. Он, в сущности, только высказал вгорячах то, о чем думал эти дни, что копилось в нем и искало выхода. И оттого, что стал он на грани в борьбе двух начал, отрицая оба их, — родилось глухое неумолчное раздражение.

Мишка с Иваном Алексеевичем шли вместе. Иван Алексеевич начал было снова рассказывать о встрече с окружным председателем, но когда стал говорить, показалось — краски и значительность вылинялы. Он попытался вернуться к прежнему настроению и не смог: стояло что-то поперек, мешало радостно жить, хватать легкими пресный, замороженный воздух. Помеха — Григорий, разговор с ним. Вспомнил, сказал с ненавистью:

— Такие, как Гришка, в драке только между ногами болтаются. Паскуда! К берегу не прибьется и плавает как коровий помет в проруби. Ишо раз придет — буду гнать в щею! А начнет агитацию пускать — мы ему садилку найдем. Ну, а ты, Мишатка, што? Как дела?

В ответ Мишка солоно закрутил, думая о чем-то своем.

Прошли квартал, и Кошевой повернулся к Ивану Алексеевичу, на полных девичьих губах его блуждала потерявшаяся улыбка.

— Вот, Алексеич, какая она, политика, злая, чорт! Гутарь — о чем хошь, а не будешь так кровя портить. А вот начался с Гришкой разговор, ить мы с ним — корешки, в школе вместе учились, по девкам бегали, он мне, как брат, а вот начал городить и до того я озлел, ажник сердце распухло, как арбуз в груди сделалось. Труситя все во мне! Кубыть отнимает он у меня што-то, самое жалкое. Кубыть грабит он меня! Так под разговор и зарезать можно. В ней, в этой войне, сватов, братьев нету. Начертился — и иди! — Голос Мишки заложал непереносимой обидой. — Я на нево ни за одну отбитую девку так не осерчал, как за эти речи. Вот до чево забрало!

XXI

Снег падал и таял на лету. В полдень, в ярах, с глухим обвальным шумом рушились снежные оползни. За Доном шумел лес.

Стволы дубов оттаяли, почернели. С ветвей срывались капли, пронзали снег до самой земли, пригревшейся под гниющим покровом листа-падалицы. Уже манило пьяным ростепельным запахом весны, в садах пахло вишенником. На Дону появились прососы. Возле берегов лед отошел, и проруби затопило зеленой и ясной водой окраинц.

Обоз, везший к Донцу партию снарядов, в Татарском должен был сменить подводы. Сопровождавшие красноармейцы оказались ребятами лихими. Старшой остался караулить Ивана Алексеевича, он так ему и заявил: «Посижу с тобой, а то ты, неровен час, сбежишь!» — а остальных направил добывать подводы. Нужно было выточить срок семь пароконных подвод. Емельян добрался и до Мелеховых.

— Запрягайте, в Боковскую снаряды везть!

Петро и усом не повел, буркнул:

— Кони в ножной, а на кобыле вчера я раненых отвозил в Вешенскую.

Емельян, слова не говоря, — в конюшню. Петро выскочил за ним без шапки, окликнул:

— Слышишь? Погоди... Может, отстаишь?

— Может, бросишь дуру трепать? — Емельян очень серьезно оглядел Петра, добавил: — Охоту маю поглядеть ваших коней, какая такая ножная у них? Не молотком ли нечаянно, с намерением суставы побили? Так ты мне не втирай очки! Я лошадей столько перевидал, сколько ты лошадинова помету. Запрягай! Коней или быков — все равно.

С подводой поехал Григорий. Перед тем, как выехать, он вскочил в кухню, целуя детишек, торопливо кидал:

— Гостинцев привезу, а вы тут не дурите, матерю слушайте. — И к Петру: — Вы обо мне не думайте. Я далеко не поеду. Ежели погонят дальше Боковской — брошу быков и вернусь. Только я в хутор не приду. Перегожу время на Сингином, у тетки... А ты, Петро, надбегу проведать... Што-то мне страшновато тут ждять, — и усмехнулся: — Ну, бывайте здоровы! Наташка, не скупай!

Около Моховского магазина, занятого под продовольственный склад, перегрузили ящики со снарядами, тронулись.

«Они воют, чтобы им лучше жить, а мы за свою хорошую жизнь воевали» — все о том же думал Григорий под равномерный

качкий ступ быков, полулежа в саях, кутая зипуном голову. «Одной правды нету в жизни. Видно, кто кого одолеет, тот того и сожрет. А я дурную правду искал... Душой болел, туда сюда качался... В старину слышно, Дон татары обижали, шли отнимать землю, неволить. Теперь Русь. Нет! не помирюсь! Чужие они и мне, и всем-то казакам. Казаки теперь почунеют... Бросили фронт, а теперь каждый, как я, ах! — да поздно».

Вблизи — бурьяны над дорогой, холмистая зябь, щетинистые буераки напыляли встречу, а дальше снежные поля, кружась, шли на юг наравне с саями. Дорога разматывалась нескончаемо, угнетала окукой, клонила в сон.

Григорий лениво прикрикивал на быков, дремал, ворочался обочь увязанных ящиков. Покурив, уткнулся лицом в сено, пропахшее сухим донником и сладостным куревом июньских дней, незаметно уснул. Во сне он ходил с Аксиньей по высоким шуршащим хлебам. Аксинья на руках бережно несла ребенка, сбоку мерцала на Григория стережущим взглядом. А Григорий слышал биение своего сердца, певучий шорох колосьев, видел сказочный расшив трав на меже, щемящую голубизну небес. В нем цвело, родило чувство, он любил Аксинью прежней изнуряющей любовью, он ощущал это всем телом, каждым толчком сердца, и в то же время сознавал, что это не явь, что мертвое зияет красками перед его глазами, что это сон. И радовался сну, и принимал его, как жизнь. Аксинья была та же, что и пять лет назад, но пронизанная сдержанностью, тронутая холодком. Григорий с такой слепящей яркостью, как никогда в действительности, видел пушистые кольца ее волос на шее (ими играл ветер), концы белой косынки... Он проснулся от толчка, отрезвел от голосов. Встречь, об'езжая их, двигались многочисленные подводы.

— Чево везете, земляки? — хрипло крикнул ехавший впереди Григория Бодовсков.

Скрипели полозья, с хрустом давили снег клешнятые копыта быков. На встречаемых подводах долго молчали. Наконец, кто-то ответил:

— Мертвяков! Тифозных...

Григорий поднял голову. В проезжавших саях лежали в накат, прикрытые брезентом, серошинельные трупы. Наклепки саней Григория на раскате ударились о тор-

чавшую из противоположных саней руку, и она отозвалась глухим чугунным звоном... Григорий равнодушно отвернулся.

Приторный, зовущий запах донника навел сон, мягко повернул лицом к полузабытому прошлому, заставил еще раз пережить и прикоснуться сердцем к отточенному клинку минувшего чувства. Разящую и в то же время сладостную, боль испытал Григорий, свалившись опять в сани, щекой касаясь желтой ветки донника. Кропотливо тронутое воспоминаниями сердце, билось неровно и долго отгоняло сон.

XXII

Вокруг хуторского ревкома сгруппировалось несколько человек: «Давыдка-вальцовщик», Тимофей, бывший Моховский кучер Емельян и рябой чеботарь Филька. На нихто и опирался Иван Алексеевич в повседневной своей работе, с каждым днем все больше ощущая невидимую стену, разделявшую его с хутором. Казаки перестали ходить на собрания, а если и шли, то только после того, как Давыдка и остальные раз по пять обегали хутор из двора во двор. Приходили, молчали, со всем соглашались. Заметно преобладали молодые. Но и среди них не встречалось сочувствующих. Каменные лица, чужие, недоверчивые глаза, исподлобные взгляды видел на майдане Иван Алексеевич, проводя собрание. От этого холодело у него под сердцем, тосковали глаза, голос становился вялым и неуверенным. Рябой Филька как-то неспроста брякнул:

— Развелись мы с хутором, товарищ Котляров! Набьчился народ, осатанел. Вчера пошел за подводами, раненых красноармейцев в Вешку везть, — ни один не едет.. Разведенным-то чижало в одном курене жить...

— А пьют! Дуром! — подхватил Емельян, мусоля трубочку. — Дымку в каждом дворе тонют.

Мишка Кошевой хмурился, свое таил от остальных, но прорвало и его: уходя вечером домой, спросил у Ивана Алексеевича:

— Дай мне винтовку.

— На што?

— Вот тебе! Боюсь итить с голыми руками. Или ты не видишь ничево? Я так думаю, надо нам кое-ково... Григория Мелехова надо взять, старика Болдырева, Матвея Кашулина, Мирона Коршунова. Нашеп-

тывают они, гады, казакам... Своих из-за Донца ждут.

Ивана Алексеевича повело, невесело махнул рукой:

— Эх! Тут ежли начать выдергивать так многих запевал выдернуть надо... Шатаются люди... А кое-кто и сочувствуют нам, да на Мирона Коршунова оглядываются. Боятся, Митька его из-за Донца придет — потрошить будет.

Круто завернула на повороте жизнь. На другой день из Вешенской конноарочный привез предписание: обложить контрибуцией богатейшие дома. На хутор дали контрольную цифру — 40 тысяч рублей. Разверстали. Прошел день. Контрибуционных денег собралось два мешка, на 18 тысяч с немногим. Иван Алексеевич запросил округ. Оттуда прислали трех милиционеров и предписание: «Не уплативших контрибуцию арестовать и препроводить под конвоем в Вешенскую». Четырех дедов временно посадили в Моховский подвал, где раньше зимовали яблоки.

Хутор запохожился на потревоженный пчельник. Коршунов наотрез отказался платить, принимая подешевевшую денгу. Однако приспела и ему пора поквитаться с хорошей жизнью. Приехали из округа двое: следователь по местным делам — молодой вешенский казак, служивший в 28 полку, и другой, в тулупе поверх кожаной куртки. Они пред'явили мандаты ревтрибунала, заперлись с Иваном Алексеевичем в кабинете. Спутник следователя, пожилой, головобритый человек, деловито начал:

— По округу наблюдаются волнения. Оставшаяся белогвардейщина поднимает голову и начинает смущать трудовое казачество. Необходимо из'ять все, наиболее враждебное нам. Офицеров, попов, атаманов, жандармов, богатеев — всех кто активно с нами боролся, давай на список. Следователю помоги. Он кое-кого знает.

Иван Алексеевич смотрел в выбритое, похожее на бабье лицо; перечисляя фамилии, упомянул Петра Мелехова, но следователь покачал головой:

— Это наш человек, Фомин просил его не трогать. Он большевистски настроен. Мы с ним в 28 служили.

Через час написанный рукой Кошевого, лег на стол лист графленой бумаги, вырванный из ученической тетради.

Через несколько часов на просторном

Моховском дворе, под присмотром милиционеров, сидели на дубах арестованные казаки. Ждали домашних с харчами и подводу под пожитки. Мирон Григорьевич, одетый, как на смерть во все новое, в дубленный полушубок, в чиррики и чистые белые чулки на вбор, — сидел с краю, рядом с дедом Богатыревым и Матвеем Кашулиным. Авдеич — Брех-суетно ходил по двору, то бесцельно заглядывал в колодезь, то поднимал какую-нибудь щепку и опять метался от крыльца к калитке, утирая рукавом налитое как яблоко, багровое, мокрое от пота лицо.

Остальные сидели молча. Угнув головы, чертили костылями снег. Бабы, запыхавшись, прибежали во двор, совали арестованным узелки, сумки, шептались. Заплаканная Лукинична застегивала на своем старике полушубок, подвязывала воротник белым бабым платком, просила, глядя в его потухшие, будто пеплом засыпанные глаза.

— А ты, Григорыч, не горюй! Может, оно обойдется добром. Што ты так уж опустил весь! Гос-по-о-оди!.. — Рот ее удлиняла, плоско растягивала гримаса рыдания, но она с усилием собирала губы в комок, шептала: — Проведать приеду... Грипку привезу, ты ить ее дюжей жалеешь...

От ворот крикнул милиционер:

— Подвода пришла! Клади сумки и трогайся! Бабы, отойди в сторону, нечево тут мокрость разводить.

Лукинична первый раз в жизни поцеловала рыжеволосую руку Мирона Григорьевича, оторвалась.

Бычьи сани медленно поползли через площадь к Дону.

Семь человек арестованных и два милиционера пошли сзади. Авдеич приотстал, завязывая чирик и молодежко побежал догонять. Матвей Кашулин шел рядом с сыном. Майданников и Королев на ходу закуривали. Мирон Григорьевич держался за кошелку саней. А сзади всех величавой, желеловой поступью шел старик Богатырев. Встречный ветер, раздувал, заносил ему назад концы белой патриаршей бороды, прощально помахивая махрами кинутую на плечи шарфа.

В этот же пасмурный февральский день случилось диковинное.

За последнее время в хуторе пр'являли к приезду служивых из округа людей. Никого не заинтересовало появление на площади

пароконной подводы с зябко с'ежившимся рядом с кучером седоком. Сани стали у Моховского дома. Седок вылез и оказался человеком пожилым, неторопливым в движениях. Он поправил солдатский ремень на длинной кавалерийской шинели, поднял с ушей наушники красного казачьего маляха и, придерживая деревянную коробку маузера, не спеша взошел на крыльцо.

В ревкоме был Иван Алексеевич да двое милиционеров. Человек вошел без стука, у порога расправил тронутый проседью короткий оклад бороды, баском сказал:

— Председателя мне нужно.

Иван Алексеевич округлившись птичьим взглядом смотрел на вошедшего, хотел вскочить, но не смог. Он только по-рыбьи зевал ртом и скреб пальцами ошарпанные ручки кресла. Постаревший Штокман смотрел на него из-под нелепого красного верха казачьего треуха; его узко сведенные глаза, не угадывая, глядели на Ивана Алексеевича и вдруг, дрогнув, сузились, посветлели, от углов брызнули к седьм вискам расщепы морщин. Он шагнул к неуспешному встать Ивану Алексеевичу, уверенно обнял его и, целуя, касаясь лица, мокрой бородой, сказал:

— Знал! Если, думаю, жив остался, он будет в Татарском председателем!

— Осип Давыдыч, вдарь!.. Вдарь меня, сукинова сына! Не верю я глазам! — плачуще заголосил Иван Алексеевич.

Слезы до того не пристали к его мужественному смуглому лицу, что даже милиционер отвернулся.

— А ты поверь! — улыбаясь и мягко освобождая руки из рук Ивана Алексеевича, басил Штокман. — У тебя, что же, и сесть не на чем?

— Садись вот на креслу! Да откель же ты взялся? Говори!

— Я — с политотделом армии. Вижу, что ты никак не хочешь верить в мою доподлинность. Экий чудак!

Штокман, улыбаясь, хлопая по колену Ивана Алексеевича, бегло заговорил:

— Очень, браток, все просто. После того, как забрали отсюда, осудили, ну, в ссылке встретил революцию. Организовали с товарищем Красную Гвардию дрался с Дутовым и Колчаком. О, брат, там веселье дела были! Теперь загнали мы его за Урал, знаешь? И вот я на вашем фронте. Политотдел 8 армии направил меня для работы в

ваш округ, как некогда жившего здесь, так сказать, знакомого с условиями. Примчался я в Вешенскую, поговорил в ревкоме с народом и, в первую очередь, решил поехать в Татарский. Дай, думаю, поживу у них, поработаю, помогу организовать дело, а потом уеду. Видишь, старая дружба не забывается? Ну, да к этому мы еще вернемся, а сейчас, давай-ка поговорим о тебе, о положении, познакомишь меня с людьми, с обстановкой. Ячейка есть в хуторе? Кто тут у тебя? Кто уцелел? Ну, что же, товарищи... пожалуй, оставьте нас на часок с председателем. Фу, чорт! В'ехал в хутор, так и пахнуло старым... Да, было время, а теперь времячко. Ну, рассказывай!

Часа через три Мишка Кошевой и Иван Алексеевич вели Штокмана на старую квартиру к Лукешке-косой. Шагали по коричневому настилу дороги. Мишка часто хватался за рукав Штокманской шинели, будто опасаясь, что вот оторвется Штокман и скроется из глаз или растает призраком.

Лукешка покормила старого квартиранта щами, даже ноздреватый от старости кусок сахара достала из потаенного угла сундука.

После чая из отвара вишневых листьев Штокман прилег на лежанку. Он слушал путанные рассказы обоих, вставлял вопросы, грыз мундштук и уже перед зарей незаметно уснул, уронив папиросу на фланелевую грязную рубаху. А Иван Алексеевич еще минут десять продолжал говорить, опомнился, когда на вопрос Штокман ответил храпком и вышел, ступая на цыпочках, багровея до слез в попытках удержать рвущийся из горла кашель.

— Отлегнуло? — тихо, как от щекотки посмеиваясь, спросил Мишка, едва лишь сошли с крыльца.

Ольшанов, сопровождавший арестованных в Вешенскую, вернулся с попутной подвой в полночь. Он долго стучался в окно горенки, где спал Иван Алексеевич. Разбудил.

— Ты чево? — вышел опухший от сна Иван Алексеевич. Чево пришел? Пакет, што ли?

Ольшанов поиграл плеткой.

— Казаков-то расстреляли.

— Брешешь, гад!

— Притняли мы — сразу их на допрос

и, ишо не стемнело, повели в сосны... Сам видал!

Не попадая ногами в валенки, Иван Алексеевич оделся, побежал к Штокману.

— Каких отправили мы ноне — расстреляли в Вешках! Я думал, им тюрьму дадут, а этак што же... Этак мы ничево тут не сделаем! Отойдет народ от нас, Осип Давыдович! Тут штой-то не так. На што надо было сничтожать людей? Што теперь будет? — Он ждал, что Штокман будет так же, как и он, возмущен случившимся, напуган последствиями, но тот, медленно натягивая рубаху, выпростав голову, попросил:

— Ты не кричи. Хозяйку разбудишь... — Он оделся, закурил, попросил еще раз рассказать причины, вызвавшие арест семи, потом холодновато заговорил: — Должен ты усвоить вот что, да крепко усвоить! Фронт в полтораста верстах от нас. Основная масса казачества настроена к нам враждебно. И это потому, что кулаки ваши, кулаки-казаки то есть, атаманы и прочая верхушка, пользуются у трудового казачества огромным весом; имеют вес, так сказать. Почему? Ну, это же тоже должно быть тебе понятно. Казаки особое сословие, военщина. Любовь к чинам привилась царизмом к «отцам-командирам»... Как это в служивской песне поется? «И что нам прикажут отцы-командиры — мы туда идем, рубим, колем, бьем». Так, что ли? Вот видишь! А эти самые отцы-командиры приказывали рабочие стачки разгонять... Казакам триста лет дурманили голову. Не мало! Так вот! А разница между кулаком, скажем, рязанской губернии и донским, казачьим кулаком очень велика! Рязанский кулак — ушемили его, — он шипит на советскую власть, бессилен, из-за угла только опасен, а донской кулак! Это вооруженный кулак. Это опасная и ядовитая гадина! Он силен. Он будет не только шипеть, распускать порочащие нас слухи, клеветать на нас, как это делали, по твоим словам, Коршунов и другие, но и попытается открыто выступить против нас. Ну, конечно! Он возьмет винтовку и будет бить нас. Тебя будет бить! И постарается увлечь за собой и остальных казаков, так сказать, середняго имущественного казака и даже бедняка. Ихними руками он норовит бить нас! В чем же дело? Уличен в действиях против нас? Готово! Разговор короткий, — к стен-

ке! И тут нечего слюнявиться жалостью. хороший, мол, человек был...

— Да я не жалею што ты! — замахаля руками Иван Алексеевич, — я боюсь, как бы остальные от нас не откачнулись.

Штокман, до этого с кажущимся спокойствием, потиравший ладонью крытую седоватым волосом грудь, вспыхнул, с силой схватил Ивана Алексеевича за ворот гимнастерки и, притягивая его к себе, уже не говорил, а хрипел, подавляя кашель:

— Не откачнутся, если внушить им нашу классовую правду! Трудовым казакам только с нами по пути, а не с жулачем! Ах, ты, мать твою! Да кулаки же ихним трудом! Ихним живут! Жиреют!.. Эх, ты, шляпа! Размагнитился! Душок у тебя... Я за тебя возьмусь! Этакая дубина! Рабочий парень, а слюни интеллигентские... Как какой-нибудь паршивенький эсеришка! Ты смотри у меня, Иван! — выпустил ворот гимнастерки, чуть улыбнулся, покачал головой и, закурив, глотнув дымку, уже спокойнее закончил:

— Если по округу не взять наиболее активных врагов, — будет восстание. Если своевременно сейчас изолировать их — восстания может не быть. Для этого не обязательно всех расстреливать; уничтожить нужно только матерых, а остальных хотя бы отправить в глубь России. Но вообще, с врагами нечего церемониться! «Революцию в перчатках не делают» — говорил Ленин. Была ли необходимость расстреливать в данном случае этих людей? Я думаю — да! Может быть, не всех, но Коршунова, например, незачем исправлять! Это ясно! А вот Мелехов, хоть и временно, а ускользнул. Именно его надо бы взять в дело! Он опаснее остальных, вместе взятых. Ты это учти. Тот разговор, который он вел с тобой в исполкоме, — разговор завтрашнего врага. Вообще же переживать тут нечего. На фронтах гибнут лучшие сыны рабочего класса. Гибнут тысячами! О них — наша печаль, а не о тех, кто убивает их или ждет случая, чтобы ударить в спину. Или они нас, или мы их! Третьего не дано. Так-то, свет Алексеевич!

XXIII

Из глубоких затишных омутов сваливается Дон на россыпь. Кучеряво вьется там течение. Дон идет в развалку мерным тихим разливом. Над песчаным твердым

дном стаями пасутся чернопузые: ночью на россыпь выходит жировать стерлядь, ворочается в зеленых прибрежных теремах тины сазан; белес и сула гоняют за белой рыбой, сом роется в ракушках; взвернет иногда он зеленый клуб воды, покажется под просторным месяцем, шевеля золотым, блистающим правилом, и вновь пойдет расковыривать лобастой усатой головой залежи ракушек, чтобы к утру застыть в полусне где-нибудь в черной обглоданной карше.

Но там, где узко русло, взятый в неволю Дон прогрызает в теклине глубокую прорезь, с придушенным ревом стремительно гонит одетую пеной белогривую волну. За мысами уступов, в котловинах течение образует коверть. Завораживающим страшным кругом ходит там вода,—смотреть — не насмотришься.

С россыпи спокойных дней свалилась жизнь в прорезь. Закипел Верхне-Донской округ. Толкнулись два течения, пошли вразброд казаки, и понесла, завертела коверть. Молодые и которые победней — мялись, отмалчивались, все еще ждали мира от советской власти, а старые шли в наступ, уже открыто говорили о том, что красные хотят казачество уничтожить поголовно.

В Татарском собрал Иван Алексеевич 19 февраля сход. Народу сошлось наредкость много. Может быть потому, что Штокман предложил ревкому на общем собрании распределить по беднейшим хозяйствам оставшееся от бежавших с белыми имущество. Собранию предшествовало бурное объяснение с одним из окружных работников. Он приехал из Вешенской с полномочиями забрать конфискованную одежду. Штокман объяснил ему, что одежду сейчас ревком сдать не сможет, так как только вчера было выдано транспорту раненых и больных красноармейцев тридцать с лишним теплых вещей. Приехавший молодой паренек насыпался на Штокмана, резко повышая голос:

— Кто тебе позволил отдавать конфискованную одежду?

— Мы разрешения не спрашивали ни у кого

— Но какое ты имел право расхищать народное достояние?

— Ты не кричи, товарищ, и не говори глупостей. Никто ничего не расхищал. Шу-

бы мы выдали подводчикам под сохранные расписки с тем, чтобы они, доставив красноармейцев до следующего этапного пункта, привезли выданную одежду обратно. Красноармейцы были полуголые и отправлять их в одних шинелишках значило отправлять на смерть. Как же я мог не выдать? Тем более, что одежда лежала в кладовой без употребления.— Он говорил, сдерживая раздражение и, может быть, разговор кончился бы миром, но паренек, заморозив голос, решительно заявил:

— Ты кто такой? Председатель ревкома? Я тебя арестовываю! Сдавай дела заместителю! Сейчас же отправляю тебя в Вешенскую. Ты тут может, половину имущества разворовал, а я...

— Ты коммунист? — кося глазами, мертвенно бледнея, спросил Штокман.

— Не твое дело! Милиционер! Возьми его и доставь в Вешенскую сейчас же. Сдашь под расписку в окружную милицию.— Паренек смерял Штокмана взглядом:

— А с тобой мы там поговорим. Ты у меня попляшешь, самоуправщик.

— Товарищ! Ты что — ошалел? Да ты знаешь...

— Никаких разговоров! Молчать!

Иван Алексеевич, неуспевший вперепалку и слово вставить, увидел, как Штокман медленным страшным движением лотянулся к висевшему на стене маузеру. Ужас плесканулся в глазах паренька. С изумительной быстротой он отворил задом дверь, падая пересчитал спиной все порожки крыльца и, ввалившись в сани, долго, пока не проскакал площадь толкал возницу в спину и все оглядываясь, видимо, страшась погони.

В ревкомое раскатами бил в окна хохот. Смешливый Давыдко в судорогах катался по столу. Но у Штокмана еще долго нервный тик подергивал веко, косились глаза:

— Нет, каков мерзавец! Ах, подлюга! — повторял он, дрожащими пальцами сворачивая папироску.

На собрание пошел он вместе с Кошевым и Иваном Алексеевичем. Майдан набит битком. У Ивана Алексеевича даже сердце не по-хорошему екнуло: «Штой-то они неспроста собрались. Весь хутор на майдане». Но опасения его рассеялись, когда он, сняв шапку, вошел в круг. Казаки охотно расступались. Лица были сдержанные, у неко-

торых даже с веселинкой в глазах. Штокман оглядел казаков. Ему хотелось разрядить атмосферу, вызвать толпу на разговор. Он, по примеру Ивана Алексеевича, тоже снял свой красный малахай, громко сказал:

— Товарищи-казаки! Прошло полтора месяца, как у вас стала советская власть. Но до сих пор с вашей стороны мы, ревком, наблюдаем какое-то недоверие к нам, какую-то даже враждебность. Вы не посещаете собраний, среди вас ходят всякие слухи, нелепые слухи о поголовных расстрелах, о притеснениях, которые будто бы чинит вам советская власть. Пора нам поговорить, что называется по-душам, пора поближе подойти друг к другу! Вы сами выбирали свой ревком. Котляров и Кошевой — ваши хуторские казаки и между вами не может быть недоговоренности. Прежде всего, я решительно заявляю, что распространяемые нашими врагами слухи о массовых расстрелах казаков — не что иное, как клевета. Цель у сеющих эту клевету — ясная: поссорить казаков с советской властью, толкнуть вас опять к белым.

— Скажешь, расстрелов нет? А семерых наших куда дели? — крикнули из задних рядов.

— Я не скажу, товарищи, что расстрелов нет. Мы расстреливали и будем расстреливать врагов советской власти, всех, кто вздумает навязывать нам помещицкую власть. Не для этого мы свергли царя, кончили войну с Германией, раскрепостили народ. Что вам дала война с Германией? Тысячи убитых казаков, сирот, вдов, разоренные...

— Верно!

— Это ты правильно гутаришь!

— ...Мы за то, чтобы войны не было, — продолжал Штокман. — Мы за братство народов! А при царской власти для помещиков и капиталистов завоевывались вашими руками земли, чтобы обогащались на этом те же помещики и фабриканты. Вот у вас под боком был помещик Листницкий. Его дед получил за участие в войне 1812 г. четыре тысячи десятин земли. А что ваши деды получили? Они головы теряли на немецкой земле! Они кровью ее поливали! Майдан загудел. Гул стал притихать, а потом сразу взмахнул ревом.

— Верна-а-а!..

Штокман малахаем осушил пот на лысеющем лбу, напрягая голос, кричал:

— Всех, кто поднимет на рабоче-крестьянскую власть вооруженную руку, мы истребим! Ваши хуторские казаки, расстрелянные по приговору ревтрибунала, были нашими врагами. Вы все это знаете. Но с вами, с тружениками, с теми, кто сочувствует нам, мы будем идти вместе, как быки на пахоте, плечом к плечу. Дружно будем пахать землю для новой жизни и боронить ее, землю, будем, чтобы весь старый сорняк, врагов наших, выкинуть с пахоты! Чтобы не пустили они вновь корней. Чтобы не заглушили роста новой жизни.

Штокман понял по сдержанному шуму, по оживившимся лицам, что ворохнул речью казацьи сердца. Он не ошибся: начался разговор по-душам.

— Осип Давыдович! Хорошо мы тебя знаем, как ты проживал у нас когда-то, ты нам вроде, как свой. Объясни правильно, не бойсь нас, што она, эта власть ваша, из нас хочет? Мы, конечно, за нее стоим, сыны наши фронт бросили, но мы — темные люди, никак не разберемся в ней. — Долго и непонятно говорил старик Грязнов, ходил вокруг да около, кидал увертливые лисьи петли слов, видимо, боясь проговориться. Косорукий Алешка Шамиль не вытерпел.

— Можно сказать?

— Бузуй! — разрешил Иван Алексеевич, взволнованный разговором.

— Товарищ Штокман, ты мне наперед скажи: могу я гутарить так, как хочу?

— Говори.

— А не заарестуете меня?

Штокман улыбнулся, молча махнул рукой.

— Только чур — не сердчать! Я от простова ума: как умею, так и заверну.

Сзади за холостой рукав Алешкиного чекменишка дергал брат Мартин, испуганно шептал:

— Брось, шалава! Брось, не гутарь, а то они тебя враз на цугундер. Попадешь на книжку, Алешка!

Но косорукий отмахнулся от него, держа изуродованной щечкой митая, стал лицом к майдану.

— Господа-казаки! Я скажу, а вы рас судите нас, правильно я поведу речь или, может, заблужусь. — Он по-военному крутнулся на каблуках лицом к Штокману,

хитро заерзал прижмурой глазом.— Я так понимаю: направдок гутарить, так направдок. Рубануть уж, так с плеча! И я зараз скажу, што мы все, казаки, думаем и за што мы на коммунистов держим обиду. Вот ты, товарищ, рассказывал, што против хлеборобов-казаков вы не идете, какие вам не враги. Вы против богатых, за бедных вроде. Ну, скажи, правильно расстреляли хуторных наших? За Коршунова гутарить не буду, он атаманил, весь век на чужом горбу катался, а вот Авдеича Бреха за што? Кашулина Матвея? Богатырева? Майданникова? А Королева? Они такие же, как и мы, темные, простые — непутанные. Учили их за чапиги¹ держаться, а не за книжку. Иные из них и грамоте не разумеют. Аз-буки— вот и вся ихняя ученость. И ежели эти люди сболтнули што плохое, то разве за это на мушку их надо брать? — Алешка перевел дух, рванулся вперед. На груди его забился холостой рукав чекменя, рот повело в сторону.— Вы забрали их, кто сдуру набрехал, казнили, а вот купцов не трогайте! Купцы деньгой у нас жизнь свою откупили! А нам и откупиться не за што, мы весь век в земле копаемся, а длинный рупь мимо нас идет. Они каких расстреляли, может, и последнева быка с база согнали б, лишь бы жизнью им оставили, но с них контрибуцию не требовали. Их взяли и поотвернули их головы. И ить мы все знаем, што делается в Вешках. Там купцы, попы — все целенькие. И в Каргинах, небось, целые. Мы слышим, што кругом делается. Добрая слава лежит, а худая по свету бежит!

— Правильна! — одинокий крик сзади.

Гомон вопух, потопил слова Алешки, но тот переждал время и, не обращая внимания на поднятую руку Штокмана, продолжал выкрикивать:

— И мы поняли, што, может, советская власть и хороша, но коммунисты, какие на должностях засели, норовят нас в ложке воды утопить! Они нам солют за 905-й год, мы эти слова слышали от красных солдат. И мы так промеж себя судим: хотят нас коммунисты изнистожить, перевесть во взят. Штоб и духу казачьева на Дону не было. Вот тебе мой сказ! Я зараз, как пьяный: што на уме, то и на языке. А пьяные мы все от хорошей жизни, от оби-

ды, што запеклась на вас, на коммунистов!

Алешка нырнул в гущу полушубков, и над майданом надолго распростерлась потерянная тишина. Штокман заговорил, но его перебили выкриком из задних рядов:

— Правда! Обижаются казаки! Вы послушайте, какие песни зараз на хуторах сложили. Словом не всякий решится сказать, а в песнях играют, с песни короткий спрос. А сложили такую «яблочко»:

Самовар кипит, рыба жарится,

А кадеты придут — будем жалиться.

— Значит, есть на што жалиться!

Кто-то некстати засмеялся. Толпа колыхнулась. Шопот, разговоры...

Штокман ожесточенно нахлобучил маляхай и, выхватив из кармана список, некогда написанный Кошевым, крикнул:

— Нет, не правда! Не за что обижаться тем, кто за революцию! Вот за что расстреляли ваших хуторян, врагов советской власти. Слушайте! — и он внятно с паузами стал читать:

СПИСОК

арестованных врагов советской власти, препровождающихся в распоряжение следственной комиссии при ревтрибунале 15 Инзенской дивизии

№ по порядку	Фамилия, имя и отчество.	За что арестован	Примечание
1.	Коршунов Миرون Григорьевич	б/атаман, богатей, нажитый от чужого труда.	
2.	Синилин Иван Авдеевич	Пущал пропаганды, чтобы свергнули советскую власть.	
3.	Кашулин Матвей Иванович	То же самое.	
4.	Майдаников Семен Гаврилов.	Надевал погоны, орал по улицам против власти.	
5.	Мелехов Пантелей Прокофьевич	Член Войскового Круга.	
6.	Мелехов Григорий Пантелеевич	Под'есаул, настроенный против. Опасный.	
7.	Кашулин Андрей Матвеев.	Участвовал в расстреле красных казаков Подтелкова.	
8.	Бодовсков Федот Никифоров.	То же — самое	
9.	Богатырев Архип Матвеев.	Церковный титор. Против власти выступал в караулке. Возмутитель народа и контра революции.	
10.	Королев Захар Леонтьев.	Отказался сдать оружие. Ненадежный.	

¹ Поручни плуга.

Против обоих Мелеховых и Бодовскова в примечании, не зачитанном Штокманом, было указано: «Данные враги советской власти не доставляются, ибо двое из них в отсутствии мобилизованы в обывательские подводы, повезли до станции Боковской патроны. А Мелехов Пантелей лежит в тифу. С приездом двое будут немедленно арестованы и доставлены в округ. А третий, как только подымится на ноги».

Собрание несколько мгновений промолчало, а потом взорвалось криками:

— Неверно!

— Брешешь, говорили они против власти!

— За такие подобные следовало!

— В зубы им заглядывать, што ля?

— Наговоры на них!

И Штокман вновь заговорил. Его слушали будто и внимательно, и даже покрякивали с одобрением, но когда в конце он поставил вопрос о распределении имущества бежавших с белыми, — ответили молчанием.

— Чего же вы воды в рот набрали? — досадуя, спросил Иван Алексеевич.

Толпа покатила к выходу, как просыпанная дробь. Один из беднейших, Семка, по прозвищу Чугун, нерешительно подался вперед, лицо его выражало смущение: он не прочь был одеть косматую шубу на зябкое тело, потеплевшими глазами он голосовал за распределение имущества, одобрительно поглядывая на Штокмана, но увидел злобные лица богатеев, сжался и махнул варежкой:

— Хозяева придут, апосля глазами моргай...

— Штокман пытался уговаривать, чтобы не расходились, а Кошевой, мучнисто побелев, шепнул Ивану Алексеевичу:

— Я говорил, — не будут брать. Это имущество лучше спалить теперь, чем и отдавать.

XXIV

Кошевой, задумчиво похлопывая плеткой по голенищу, уронив голову, медленно восходил по порожкам моховского дома. Около дверей в коридоре, прямо на полу, лежали в куче седла. Кто-то, видно, недавно приехал: на одном из стремян еще не стаял спрессованный подошвой всадника желтый от навоза комок снега; под ним мерцала лужица воды. Все это Кошевой видел, сту-

пая по измызганному полу террасы. Глаза его скользили по голубой резной решетке с выщербленными ребрами, по пушистому настилу иinea, сиреневой каемкой лежавшему близ стены: мельком взглянул он на окна, запотевшие изнутри, мутные, как бычачий пузырь. Но все то, что он видел в сознании не фиксировалось, скользило невнятно, расплывчато, как во сне. Жалость и ненависть к Григорию Мелехову переплели Мишкино простое сердце...

В передней ревкома густо воняло табаком, конской сбруей, талым снегом. Горничная, одна из прислуги, оставшаяся в доме после бегства Моховых за Донец, топила голландскую печь. В соседней комнате громко смеялись милиционеры. «Чудно им! Веселость нашли!.. — обиженно подумал Кошевой, шагая мимо и уже с досадой в последний раз хлопнул плеткой по голенищу, без стука вошел в угловую комнату.

Иван Алексеевич в распахнутой ватной теллушке сидел за письменным столом. Черная папаха его была лихо сдвинута на бекрень, а потное лицо, несоответственно виду, устало и озабочено. Рядом с ним на подоконнике, все в той же длинной кавалерийской шинели, сидел Штокман. Он встретил Кошевого улыбкой, жестом пригласил сесть рядом:

— Ну, как, Михаил? Садись.

Кошевой сел, разбросав ноги. Любозательно-спокойный голос Штокмана подействовал на него отрезвляюще.

— Слышал я от вернова человека... Вчера вечером Григорий Мелехов приехал домой. Но к ним я не заходил.

— Что ты думаешь по этому поводу? — Штокман сворачивал папироску и изредка вкось поглядывал на Ивана Алексеевича, выжидая ответа.

— Посадить его в подвал, или как? — часто мигая, нерешительно спросил Иван Алексеевич.

— Ты у нас председатель ревкома... Смотри. — Штокман улыбнулся, уклончиво пожал плечами. Умел он с такой издевкой улыбнуться, что улыбка жгла не хуже удара арапником. Вспотел у Ивана Алексеевича подбородок. Не разжимая зубов, резко сказал:

— Я — председатель, так я их обоих, и Гришку и брата, арестую — и в Вешки!

— Брата Григория Мелехова арестовывать вряд ли есть смысл. За него торой

стоит Фомин, тебе же известно, как он о нем прекрасно отзывается. А Григория взять сегодня же, сейчас же! Завтра мы его отправим в Вешенскую, а материал на него сегодня же пошли с конным милиционером на имя председателя ревтрибунала.

— Может, вечером забрать Григория, а, Осип Давыдович?

Штокман закашлялся, и уже после приступа, вытирая бороду, спросил:

— Почему вечером?

— Меньше разговоров.

— Ну, это, знаешь ли... ерунда это!

— Михаил, возьми двух человек и иди заberi зараз же Гришку. Посадишь его отдельно. Понял?

Кошевой сполз с подоконника, пошел к милиционерам. Штокман ходил по комнате; шаркая растоптанными седыми валенками, остановившись против стола, спросил:

— Последнюю партию собранного оружия отправил?

— Нет!

— Почему?

— Не успел вчера.

— Почему?

— Нынче отправим.

Штокман нахмурился, но сейчас же поднял брови, скороговоркой спросил:

— Мелеховы что сдали?

Иван Алексеевич, припоминая, сощурил глаза, улыбнулся.

— Сдали-то они в аккурат, две винтовки и два нагана. Да ты думаешь это все?

— Нет?

— Ого! Нашел дурее себя!

— Я тоже так думаю.— Штокман тонко поджал губы.— Я бы на твоём месте после ареста устроил у него тщательный обыск. Ты скажи, между прочим, коменданту-то. Думать-то ты думаешь, а кроме этого и делать надо.

Кошевой вернулся через полчаса. Он резво бежал по террасе, свирепо прохлопал дверями и, став на пороге, переводя дух, крикнул:

— Чорта с два!

— Ка-а-ак?!— быстро идя к нему, страшно округля глаза, спросил Штокман. Длинная шинель его извивалась между ногами, полами шелкала по валенкам.

Кошевой, то ли от тихого его голоса, то ли еще от чего, взбесился, заорал:

— А ты глазами не играй! — и матерно

выругался.— «Говорят, уехал Гришка на Сингинский к тетке, а я тут причём? Вы-то где были? Гвозди дергали! Вот! Проворонили Гришку! А на меня же чево орать? Мое дело телячье,— поел да в закут. А вы чево думали? — Пятясь от подходившего к нему в упор Штокмана, он уперся спиной в изразцовую боковину печи и рассмеялся.— Не напирай, Осип Давыдович! Не напирай, а- то, ей-богу, вдарю!

Штокман постоял около него, похрустел пальцами; глядя на белый Мишкин оскал, на глаза его, смотревшие улыбочиво и преданно, процедил:

— Дорогу на Сингин знаешь?

— Знаю.

— Чего же ты вернулся? А еще, говорит, с немцем дрался, шляпа! — и с нарочитым презрением сощурился.

Степь лежала, покрытая голубоватым дымчатым курелом. Из-за однобокого бура вставал ядреный багровый месяц. Он скупо светил, не затмевая фосфорического света звезд.

По дороге на Сингин ехали шесть конников. Лошади бежали рысцой. Рядом с Кошевым трясся в драгунском седле Штокман. Высокий гнедой донец под ним все время взрывал, ловчился укусить всадника за колено. Штокман с невзмутимым видом рассказывал какую-то смешную историю, а Мишка, припадая к луке, смеялся детским, залихватным смехом, захлебываясь и икая, и все норовил заглянуть под башлык Штокману, в его суровые, стерегущие глаза.

Тщательный обыск на Сингином не дал никаких результатов.

XXV

Григория заставили из Божовской ехать в Чернышевскую. Вернулся он через полторы недели. А за два дня до его приезда арестовали отца. Он только что начал ходить после тифа. Встал еще больше поседевший, маслоковатый, как конский скелет. Серебристый каракуль волос на голове лежал будто избитой молью, борода свалилась и была по краям сплошь намылена сединой.

Милиционер увел его, дав на сборы десять минут. Посадили Прокофьевича переправкой в Вешенскую в Моховский полвал. Кроме него, в подвале, густо пропахшем анисовыми яблоками, сидели еще девять стариков и один почетный судья.

Петро сообщил эту новость Григорию. Не успел еще тот в ворота в'ехать, посоветовал:

— Ты, браток, поворачивай оглобли... Про тебя пытали, когда приедешь. Поди посогрейся, детишков поводи, а посла давай я тебя отвезу на Рыбный хутор, там прихоронишься и переждишь время. Будут спрашивать, скажу — уехал на Сингин, к тетке. У нас ить семерых прислонили к стенке, слышал? Как бы отцу такая линия не вышла... А про тебя и гутарить нечево!

Посидел Григорий в кухне с полчаса, а потом, оседлав своего коня, в ночь ускорил на Рыбный. Дальний родственник Мелеховых, радушный казак, спрятал Григория в прикладке кизяков. Там он и прожил двое суток, выползая из своего логова только по ночам.

XXVI

25 февраля, на второй день после приезда с Сингина, Кошевой отправился в Вешенскую узнать, когда будет собрание коммючейки. Он, Иван Алексеевич, Емельян, Давыдка и Филька решили оформить свою партийную принадлежность.

Мишка вез с собой последнюю партию сданного казаками оружия, найденный в школьном дворе пулемет и письмо Штокмана председателю окружного ревкома. На пути в Вешенскую в займище поднимали зайцев. За годы войны столько развелось их и так много набрело, кочевых, что попадались они на каждом шагу. Как желтый султан куги, так и заячье кобло. От скрипа саней вскочит серый с белым подпузником заяц и, мигая оттороченным черной опушкой хвостом, пойдет щелкать целиной. Емельян, правивший конями, бросал вожжи, люто орал:

— Бей! А, ну, резани ево!

Мишка прыгал с саней, с колена вытаскивал в след серому катучему комку обойму, разочарованно смотрел, как пуля схватывала вокруг него белое крошево снега, а комок надавал ходу, с разлету обивал с бурьяна снежный покров и скрывался в чаще.

В ревкоме шла бестолковая сутолочь. Люди потревоженно бегали, под'езжали верховые нарочные, улицы поражали малолюдьем. Мишка, не понимавший причины беспорядочной суеты, был удивлен. Письмо

Штокмана заместитель председателя рассеянно сунул в карман, на вопрос — будет ли ответ, сурово буркнул:

— Отвяжись, ну тебя к чорту! Не до вас!

По площади сновали корротцы. Проехала, пыхая дымкой, полевая кухня. На площади запахло говядиной и лавровым листом.

Кошевой зашел в ревтрибунал к знакомым ребятам покурить, спросил:

— Чево у вас тамаха идет?

Ему неохотно ответил один из следователей по местным делам, Громов.

— В Казанской што-то неспокойно. Ни то белые прорвались, ни то казаки восстали. Вчера бой там шел, по слухам. Телефонная связь-то порватая.

— Верховова кинули б туда.

— Послали. Не вернулся. А нынче в Еланскую пошла рота. И там што-то нехорошо.

Они сидели у окна, курили. За стеклами осанистого купеческого дома, занятого трибуналом, порошил снежок.

Выстрелы немо захлопали где-то за станицей, около сосен, в направлении на Черную. Мишка побелел, выронил папиросу. Все бывшие в доме кинулись во двор. Выстрелы гремели уже полнозвучно и веско. Возраставшую пачечную стрельбу задавал залп, завизжали пули, заклацали, вгрызаясь в обшивку сараев, в ворота. Во дворе ранило красноармейца. На площадь, комкая и засовывая в карманы бумаги, выбежал Громов. Около ревкома строились остатки караульной роты. Командир в куцой дубленке челноком шнырял между красноармейцев. Колонной, на рысях, повел он роту на спуск к Дону. Началась гибельная панника. По площади забегали люди. Задрал голову наметом, прошла оседланная без всадника лошадь.

Ошарашенный Кошевой сам не помнил, как очутился на площади. Он видел, как Фомин, в бурке, черным вихрем вырвался из-за церкви. К хвосту его рослого коня был привязан пулемет. Колесики не успевали крутиться, пулемет волочился боком, его трепал из стороны в сторону шедший карьером конь. Фомин, припавший к луке, скрылся под горой, оставив за собой серебряный дымок снежной пыли.

«К лошадям!» — было первой мыслью Мишки. Он, пригинаясь, перебегая перекрестки, ни разу не передохнул. Сердце за-

шлось, пока добежал до квартиры. Емельян запрягал лошадей, с испугу не мог нацепить потрошки.

— Штой-то, Михаил? Што такое? — лепетал он, выбивая дробь зубами. Запряг — потерял вожжи. Начал вожжать — на хомуте, у левой, развязалась супонь. Двор, где они стали на квартиру, выходил в степь. Мишка посматривал на косны, но оттуда не показывались цепи пехоты, не шла лавой конница. Где-то стреляли, улицы были пусты, все было обыденно и скучно. И в то же время творилось страшное: переворот вступал в права.

Пока Емельян возился с лошадьми, Мишка глаз не сводил со степи. Он видел, как из-за часовеньки, мимо места, где сгорела в декабре радиостанция, побежал человек в черном пальто. Он мчался из всех сил, низко клонясь вперед, прижав к груди руки. По пальто Кошевой угадал следователя Громова. И еще успел увидеть он, как из-за плетня мелькнула фигура конного. И его угадал Мишка. Это был вешенский казак Черничкин, молодой, отъявленный белогвардеец. Отделенный от Черничкина расстоянием в сто сажен, Громов на бегу оглянулся раз и два достал из кармана револьвер. Хлопнул выстрел, другой. Громов выскочил на вершину песчаного буруна, был из нагана. С лошади Черничкин прыгнул на ходу; придержав повод, снял винтовку, прилег под сугроб. После первого выстрела Громов пошел боком, хватая левой рукой ветви хвороста. Околевиз бурун, он лег лицом в снег. «Убил!» — похолодел Мишка. Был Черничкин лучшим стрелком и из принесенного с германской австрийского карабина без промаха нисал любую на любом расстоянии цель. Уже в санях, выскочив за ворота, Мишка видел, как Черничкин, подскакав к буруну рубил шашкой черное пальто, косо распростертое на снегу.

Скакать через Дон на Базки было опасно. На белом просторе Дона лошади и седоки стали бы прекрасной мишенью.

Там уже легли двое карротцев, срезанные пулями. И поэтому Емельян повернул через озеро в лес. На льду стоял наслух¹ из-под конских копыт, шипя, летели брызги и комья, подреза полозьев чертили глубокие борозды. До хутора скакали бешено.

Но на переезде Емельян натянул вожжи, повернул спаленное ветром лицо к Кошевому:

— Што делать? А если и у нас такая заворуха?

Мишка затосковал глазами. Оглядел хутор. По крайней к Дону улице проскакали двое верховых. Показалось, видно, Кошевому, что это милиционеры.

— Гони в хутор. Больше нам некуда деваться! — решительно сказал он. Емельян с великой неохотой тронул лошадей. Дон переехали. Поднялись на выезд. Навстречу им бежали Антип Брехович и еще двое стариков с верхнего края.

— Ох, Миша! — Емельян, увидев в руках Антипа винтовку, задернул лошадей, круто повернул назад.

— Стой!

Выстрел. Емельян не роняя из рук вожжей, упал с сеной. Лошади скоком воткнулись в плетень. Кошевой не успел приготовиться к защите: удар саней выбросил его к плетню, и, вскакивая на ноги, он заметил, как, подбегая, к нему Антип, скользя ногами, обутыми в чирюхи, качнулся, стал, кинул к плечу винтовку. Падая на плетень, Мишка заметил в руках у одного старика белые зубья вил тройчаток.

— Бей его!

От ожога в плече, Кошевой без крика упал вниз, ладонями закрыл глаза. Человек нагнулся над ним с тяжким дыхом, пырнул его вилами.

— Вставай, твою мать!

Дальше Кошевой помнил все, как во сне. На него, рыдая, кидался, хватал за грудки Антип: «Отца моего смерти предал. Пустите, добрые люди! Дайте я над ним сердце отведу!» Его оттягивали. Собралась малая толпа. Чей-то урезонивающий голос простудно басил:

— Пустите парня! Што вы креста не имеете, што ля? Брось, Антип! В отца жизнь не вдунешь, а человека загубишь. Разойдитесь, братцы. Там вон, на складе, сахар делют, ступайте.

Очнулся Мишка вечером под тем же плетнем. Жарко пощипывал торнутый вилами бок. Зубья, пробив полушубок и теплушку, лишь на вершок вошли в тело. Но разрывы болели, на них комками запеклась кровь. Мишка встал на ноги, прислушался. По хутору, видно, ходили повстанческие патрули. Редкие тукали выстрелы. Брехали

¹ Пропитанный водою снег.

собаки. Издали слышался приближающийся говор. Пошел Мишка скотиньей стезжкой над Доном. Выбрался на яр и полз над плетнями, шаря руками по черствой корке снега, обрываясь и падая. Он не угадывал места, полз наобум. Холод бил дрожью тело, замораживал руки. Холод и загнал Кошевого в чьи-то воротца. Он открыл калитку, прикляченную хворостом, вошел на задний баз. Налево виднелась половня. В нее забрался Мишка, но сейчас же слышал шаги и кашель.

Кто-то шел в половню, поскрипывая валенками. «Добьют зараз»,— безразлично, как о постороннем, подумал Кошевой. Человек стал в темном просвете дверей.

— Кто тут такой?— голос был слаб и будто испуган. Мишка шагнул за стенку.

— Кто это?— спросили уже тревожнее и громче.

Угадав голос Степана Астахова, Мишка вышел из половни.

— Степан, это я, Кошевой... Спаси, ради бога. Могешь ты не говорить никому? Пособи.

— Вон это кто...— Степан, только что поднявшийся после тифа, говорил расслабленным голосом. Удлиненный худобой рот его широко и неуверенно улыбался.— Ну, што ж, переночуй, а днєвать уж иди куда-нибудь. Да ты как попал сюда?

Мишка без ответа нащупал его руку, сунулся в ворох мякины. На другую ночь, чуть смерклось, решившись на отчаянное, добрел до дома, постучался в окно. Мать открыла ему двери в сенцы, заплакала. Руки ее шарили, хватали Мишку за шею, а голова колотилась у него на груди.

— Уходи! Христа ради, уходи, Мишень-

ка! Приходили ноне утром казаки. Весь баз перерыли, искали тебя. Антипка Брех плетью меня секанул. «Скрываешь, говорит, сына. Жалко, што не доби́ли ево доразу!»

Где были свои— Мишка не представлял. Что творилось в хуторе— не знал. Из короткого рассказа матери понял, что восстали все хутора Обдонья, что Штокман, Иван Алексеевич, Давыдка и милиционеры ускакали, а Фильку и Тимофея убили на площади еще вчера в полдень.

— Уходи. Найдут тут тебя.

Мать плакала, но голос ее, налитый тоской, был тверд. За долгое время в первый раз заплакал Мишка, по-ребячьи всхлипывая, пуская ртом пузыри. Потом обратал подсосую кобыленку, на которой служил когда-то в атаршиках, вывел ее на гумно следом шел жеребенок и мать. Мать посадила Мишку на лошадь, перекрестила. Кобыла пошла нехотя, два раза заржала, прикликая жеребенка. И оба раза сердце у Мишки срывалось и будто катилось куда-то вниз. Но выехали он на бугор благополучно, рыском двинул по Гетманскому шляху на восток, в направлении Усть-Медведицы. Ночь раскохалась темная, беглецкая. Кобыла часто ржала, боясь потерять сосунка. Кошевой стискивал зубы, бил ее по ушам концами уздечки, часто останавливался послушать— не гремит ли сзади или встречу тулкий бег коней, не привлекло ли чьего-нибудь внимания ржанье? Но крутом мертвела сказочная тишина. Кошевой слышал только, как, пользуясь останковкой, сосет, чмокает жеребенок, припав к черному вымени матери, упираясь задними ноженками в снег, и чувствовал по спине лошади его требовательные толчки.

(Продолжение следует)

СОДЕРЖАНИЕ

В. ЛУГОВСКОЙ — Интернационал. <i>Стих.</i>	3
М. ЩОЛОХОВ — Тихий Дон. <i>Роман</i> , часть шестая	5
В. СТАВСКИЙ — Зарницы (3 книга «Станица»)	40
В. ЛУГОВСКОЙ — Пудинг безработных. <i>Стих</i>	53
Н. ЛЯШКО — <i>Рассказы</i>	55

ЖИЗНЬ НА ХОДУ

Г. КИШ — Германия сегодня	63
З. ЧАГАН — Усилия. (Главы из книги «О Магнитострое»)	80
В. ШУЛИКОВ — Мечтатели и мастера	93

ЗАПИСКИ ПИСАТЕЛЯ

Ф. ПАНФЕРОВ — Говорите голосом книг	113
А. СУРКОВ — Через творческое размежевание к подлинной консолидации	125

ПУБЛИЦИСТИКА

Д. ЗАСЛАВСКИЙ — Спекуляция на плане	139
И. ЕРУХИМОВИЧ — Изобличающий документ	152

КРИТИКА

Л. АВЕРБАХ — За ленинскую партийность творческого метода	169
Н. ПЛИСКО — О «Разбеге» В. Ставского	179



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1932 год

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

О К Т Я Б Р Ъ

Орган Российской и Московской ассоциации пролетарских писателей (РАПП и МАПП)

ГОД ИЗДАНИЯ 7-й

12 № в ГОД

ОКТАБРЬ группирует вокруг себя пролетарских писателей, растущий литературный молодняк и близких революции писателей советской интеллигенции.

ОКТАБРЬ печатает лучшие произведения пролетарской литературы, освещает важнейшие явления политической и культурной жизни страны, ведет борьбу за гегемонию пролетарской литературы

В 1932 ГОДУ В ЖУРНАЛЕ БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ:

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. А. СЕРАФИМОЗИЧ — „Борьба“, роман2. Ф. ПАНФЕРОВ — „Бруски“, кн. 3-я3. А. ИСБАХ — „Кадры“, роман4. М. ШОЛОХОВ — „Тихий Дон“, кн. 3-я5. В. СТАВСКИЙ — „Станица“, кн. 3-я6. А. ФАДЕЕВ — „Последний из удэгов“, кн. 2-я7. БАБЕЛЬ — Рассказы8. Б. ЯСЕНСКИЙ — „Таджикистан“, очерки9. М. ПЛАТОШКИН — „Развернутым фронтом“, роман10. БИЛЛЬ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ — Пьесы и записки писателя11. В. ГОРБАТОВ — „Горный исход“, пов. и роман „Жагда“.12. Л. ЛЕОНОВ — Повесть13. В. ДУРОВИН — „Колеса Самодуровки“, кн. 2-я14. А. МИТРОФАНОВ — „Северянка“, роман | <ol style="list-style-type: none">15. Я. ШВЕДОВ — „Понски отечества“, повесть16. В. ГАЛИН — „Литье“, роман17. Я. ИЛЬИН — „Большой конвейер“, роман18. А. ЧЕРНЕНКО — „Моряна“, роман19. И. ЖИГА — „Донбасс“, очерки20. А. КАРАВАЕВА — „Героним“, рассказ21. В. ИЛЬЕНКОВ — Рассказ22. Э. РИХТЕР — „Поход Осевэки“, очерки23. Л. ОВАЛОВ — Роман24. В. БАХМЕТЬЕВ — Рассказ25. Г. КИШ — Очерки26. М. ЭГАРТ — „Опаленная земля“, роман27. Еф. ПОЛОНСКИЙ — „Баку“, кн. 2-я28. С. МСТИСЛАВСКИЙ — „Партионцы“, роман29. История Коломенского завода, очерки |
|---|--|

СТИХИ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТНЫ, МЕМУАРЫ, СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ

В отделах: 1. ЖИЗНЬ НА ХОДУ. 2. ЗАПИСКИ ПИСАТЕЛЯ. 3. ПЕРЕЖИТОЕ. 4. ПУБЛИЦИСТИКА. 5. СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО. 6. КРИТИКА. 7. БИБЛИОГРАФИЯ

Журнал рассчитан на партийный и комсомольский актив, рабочих ударников, учащихся, широкие писательские слои и литкружковцев.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год — 12 р., на 6 мес. — 6 р., на 3 мес. — 3 р.
Отдельный номер — 1 р. 10 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ всеми отделениями и магазинами Книгоцентра, его уполномоченными и всюду на почте